

Татьяна Борщевская
Россия — боль моя

Том 1



Татьяна Борщевская

Россия – боль моя. Том 1

«Издательские решения»

Борщевская Т. А.

Россия – боль моя. Том 1 / Т. А. Борщевская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-907650-2

Эта книга — не историческое исследование. Это впечатления неравнодушного современника. Книга об исторической российской катастрофе XX века; о революции 1917-го, о сталинском строительстве социализма и его крушении. Несмотря на неисчислимые человеческие, интеллектуальные и материальные потери, Россия выжила и сейчас поднимается на очередном историческом пепелище. Нам всем, особенно молодежи, ее лечить и поднимать. Для этого ее надо любить. А чтобы любить, надо знать, знать ее историю и культуру!

ISBN 978-5-44-907650-2

© Борщевская Т. А.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Немного из биографии	10
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Россия – боль моя

Том 1

Татьяна Александровна Борщевская

Хочу поблагодарить своих друзей: Марию Юрьевну Честных, Александра Михайловича Дьячкова, Викторию Борисовну Вольпину за моральную, физическую, материальную, организационную поддержку в трудный для меня период, когда писалась эта книга.

Моим дорогим родителям посвящаю.

«Настоящее часто бывает следствием прошедшего».

Карамзин

На обложке береза в виде креста, которая выросла на месте концентрационного лагеря СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения).

© Татьяна Александровна Борщевская, 2018

ISBN 978-5-4490-7650-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Двадцатый век в России – это век трех эпох и двух исторических (тектонических) разломов. Этот трудный век не обошел меня стороной.

Я родилась в 1935 году в Донбассе, на Украине. В детстве среди своих родных, воспитателей, учителей я застала людей, которые несли в себе еще остатки старой России, христианских заповедей, даже при внешнем атеизме, не утраченного до конца духа Серебряного века.

Прекрасный детский сад. Хорошая школа.

В 1937-ом арестовали, а в 1938-ом расстреляли моего отца. Мы с мамой уцелели чудом: нас просто потеряли.

1941 – 1945 гг. – Великая Отечественная Война (ВОВ). Линия фронта, полтора года оккупации, голод, холод, руины, потери. Голод практически до конца 1948 года.

Пионерское, комсомольское детство. В десятом классе (в мае 1953 года!) писала на выпускном экзамене сочинение о Сталине, о его бессмертии, о бессмертии его дел (накликала беду: он, действительно, бессмертен, и дела его – тоже).

Потом Москва, учеба и вопросы, вопросы, вопросы: что происходит с моей страной?

На старших курсах института появилось желание что-то записывать. Мой друг (очень большой авторитет для меня) посмеялся надо мной, и к этой мысли я вернулась лишь через 30 лет. Уже прошла давно «оттепель», кончалась душная брежневщина, страна рушилась, мы «плыли на тонущем корабле». Душили тоска, безнадежность, предчувствие какого-то конца. Делиться мыслями было легче всего с бумагой. Я стала кое-что записывать. Писала на бегу: работа, дом, дефициты, очереди не оставляли времени на размышления. Мысли приходили в транспорте, в очередях, ночью. Не все мысли доносила до письменного стола.

Писала на случайных бумажках, в блокнотах, в рабочих тетрадях. Это стало привычкой. Когда этих бумажек и записей накопилось довольно много (хотя очень многое терялось), я решила, что разумнее писать на библиографических карточках: у меня был опыт работы с ними. Я стала записывать впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного, делать выписки – тоже на бегу или по ночам.

Перо учит думать. Постепенно вырисовывалась трагическая картина российской истории 20-го века. Записи постепенно накапливались. Появилось неопределенное еще желание обобщить это в чем-то подобном «Гернике» или картине И. Глазунова «Мистерия – 20-й век»: такой бреющий полет над Россией 20-го века, некая схема ее взлетов, но гораздо более ее крушений и бедствий.

Определенности добавила «перестройка»: валом обрушившийся поток ранее недоступной информации; перемены, которых мы ждали, и кошмар, которым они обернулись.

И, может быть, самым мощным толчком для меня были не крах, не разруха, какой Россия не знала даже после революции 1917-го, а тот поток грязи, унижений, который обрушился на Россию и изнутри, и извне. Может быть, то презрение к России, ко всему российскому, которое высказывали наши либералы, журналистская ретивая «зелень», заставили меня задуматься, так ли уж действительно плохо все российское и ее народ.

Россию выбросили в «четвертый» мир, на задворки истории – «навсегда». «Русский народ», «русский менталитет», «совки», «советский патриотизм» – стали ругательными, замаранными, затасканными понятиями.

Записи мои копились, их были уже тысячи. Уже хотелось во что-то это оформить. И в 2008 году, на восьмом десятке своей жизни я принялась их разбирать: «мотор» мой отказывался работать – варить супы, мыть полы, копать грядки. Да и внуки уже выросли, а родные, близкие, любимые косяком ушли из жизни. (Думать позволила только старость. До этого был постоянный бег, более всего на месте, отупляющий, изнуряющий).

Теперь можно было сесть и за письменный стол. Только на разбор и идентификацию карточек у меня ушел год. Сразу пришлось отбросить всё, где были пометки «найти», «про-честь», «додумать». Примерно до четверти записей руки просто не дошли: нехватило времени и сил. Значительная часть записей была потеряна. На вожделенную библиотеку уже не было сил. (Интернет у меня появился, когда книга была уже практически написана). И все-таки, старость – время прекрасное: она снимает вериги и дает какие-то права. Можно сесть, взять голову в руки и подумать... Что ж! Я решила писать книгу. Неслыханная дерзость! Но унести с собой весь мой жизненный непростой опыт, не оставив никому и толики его, казалось тоже неверным. Будет книга или нет, я не знала, но название ее я знала с самого начала: «Россия – боль моя». Да, именно БОЛЬ. Но боль, страдание – это производное от любви. Без любви нет боли, нет страдания. А в России всё – через страдание... Любить меня научила моя мамочка – любить красоту, природу, искусство, знание, людей, Родину, жизнь. А сколько прекрасных людей я встретила в жизни! Мне везло на хороших людей, святых земли русской; с какими судьбами пришлось столкнуться, может быть, потому, что я это запоминала. И, пожалуй, больше всего хороших людей я встречала в самые трудные времена, во время войны, – даже немцев.

Слово «боль» вынесено в название этой книги. И пусть не упрекают меня читатели, если таковые когда-либо будут, за излишнюю эмоциональность. Я ее не скрываю. Боль – это чувство, и оно лежит в основе всего написанного.

Но встает вопрос, зачем, для кого писать. Кому это будет интересно? И нужно ли это вообще? – Не могу на это ответить. Но в Писании сказано: «От избытка сердца уста глаголят...». А Лев Толстой говорил: «Писать надо только тогда, когда не писать не можешь». Ну, вот, наверное, поэтому и пишу.

У этой книги могло бы быть и другое название: «Анти-Сталин». Думаю, что в российской катастрофе 20-го века он сыграл страшную роль, наверное, самую страшную. У этой катастрофы было много причин, неслучайных и случайных, много героев и анти-героев, но Сталин сыграл в ней роковую роль.

После 4-х лет Первой Мировой войны, 5-ти лет братоубийственной разрушительной Гражданской войны, уничтожения и бегства за рубеж почти всех верхних слоев российского дореволюционного общества страна была еще жива – это показал НЭП. Но после 30-летнего террора Сталина она не может оправиться многие десятилетия.

Все основные беды нашего сегодняшнего времени уходят корнями более всего в сталинщину: геноцид, наш нравственный распад, уголовщина, корыстное высшее чиновничество, апатия, «Зона» – Сибирь, безлюдье, демографическая катастрофа и всё, отсюда вытекающее... И все же это – подзаголовок. В заголовок я выношу главное – БОЛЬ.

По мере того, как росли горы карточек – страничек моего необычного дневника, углублялось мое понимание той исторической катастрофы, которая стряслась с Россией в 20-ом веке. И в то же время я все более и более понимала: круг тех людей, которые имеют представление о масштабах этой трагедии и ее последствиях, чрезвычайно узок. Три поколения сформировались в условиях Лжи, Тайны и Страх. Знать, думать, понимать было смертельно опасно. Понимающих, думающих, а тем более знающих прицельно истребляли.

Инстинкт самосохранения выработал в людях, даже потенциально способных думать, привычку, не задумываясь, знать лишь дозволенное. Она глубоко укоренилась, возможно, структурировалась в особых советских генах. Этому всему способствовала загнанность: проблемами производства, быта, дефицитами, неустроенностью жизни.

Меня всю жизнь окружали хорошие люди: образованные, честные труженики, неглупые и добрые. Все они знали, что был культ личности, репрессии, разоблачение культа и реабилитации, но почти никто из них не задумывался о масштабах и исторических последствиях происходившего. В том числе и те, кто прочел «Архипелаг ГУЛАГ» и даже те, кого не обошел

террор. И в очень узком диссидентском кругу по-настоящему это понимают далеко не все. Наверное, понимание требует специальной аналитической работы.

У нас достаточно много хороших книг о революции, эмиграции, пятилетках, о коллективизации, ГУЛАГе, ВОВ, о строительстве социализма. Каждая из них впечатляет, но не дает общей картины. Нет общей картины происшедшего. А кому она нужна? Историкам? Об историках писать не могу. Я их практически не знаю. Знаю только, что та история, которую преподают в школах и даже университетах, это свалка из обрывков правды и нагромождений лжи, это продолжение сталинщины, лжи, недоумства и страха.

Постепенно уходят ровесники века, живые свидетели страшных его событий. Архивы приоткрываются «со скрипом», а за плотно закрытыми дверями их в течение десятилетий тихо уничтожают. Возможно, что-то ценное историкам все же достанется для анализа, но это тоже все будет для узкого круга.

А память человеческая удивительно коротка. В начале прошлого века Александр Блок писал:

Мы, дети страшных лет России,
Забыть не можем ничего.

Но это было только начало. Страшное, столь страшное, что никакое воображение не могло его предвидеть, было еще впереди. Но мы все забываем. Не просто забываем – знать не хотим. Так безопаснее, спокойнее. Привыкли прятаться в «серость».

Разбирая собственные карточки, я нередко удивлялась написанному. Мне казалось, что у меня неплохая память, однако я тоже уже почти забыла, как страшны были поздние 80-е и все 90-е годы в России. Как я благодарна себе, что многое записала по «горячим следам». Это было почти как у Ю. Олеши: «Ни дня без строчки». Но поскольку все писалось на бегу, самые страшные моменты записаны несколькими словами: впечатления были так сильны, что казалось, этого забыть нельзя. Но... забылось. Может быть, многое очень ценное. Но люди, которые не помнят, как было вчера, не радуются тому, что сегодня лучше, чем вчера, и не верят, не ждут хорошего от завтра, не работают на него. Так человек живет вне истории (и страна, и человечество): нет прошлого, нет настоящего – нет будущего...

Отметим удивительное и очень значимое явление: ПРОШЛОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ (И БУДУЩЕЕ!), НЕСМОТРИ НА ТО, ЧТО ЗАБЫВАЕТСЯ, ЧАСТО ПОЧТИ НАЧИСТО, КАК НЕ СУЩЕСТВОВАВШЕЕ.

Поэтому, чтобы понимать свое настоящее, чтобы знать, какое и как строить будущее, необходимо знать, т. е. изучать наше – прошлое.

И более всего это необходимо нашей молодежи: тем, кто вступает в жизнь сегодня, кто вступит в нее завтра. Сегодня молодежь ничего не знает о России, кроме того, что это страна отсталая, может быть, даже гиблая, окруженная благополучными цветущими странами. Чувство патриотизма, высмеянное, испачканное «перестройкой», им чуждо, и они легко, при первой же возможности покидают неуютную страну, в которой они случайно, по ошибке рока, родились.

Россия – трудная страна. Но это страна великая: огромная, богатая, со сложной историей и великой культурой.

В 20-ом веке с ней стряслась историческая беда: стряслась по роковому стечению случайных и неслучайных обстоятельств. Россия в этой беде реализовала все худшее, темное, разбойное, и все лучшее, великое, святое, что было в национальном характере ее народа. Это надо знать!

Сейчас Россия очень тяжело больна, но она медленно, трудно встает (ей не впервой!). Ей необходима помощь. Никто, кроме ее собственного народа, ей не поможет. Но чтобы лечить

тяжело больного и желать ему выздоровления, а не скорейшей гибели, его надо ЛЮБИТЬ. А любить, не зная, невозможно.

Молодежь должна полюбить свою страну – ей ее поднимать. Для этого она должна знать великую культуру своей страны, ее историю, трагедию ее 20-го века – историю ее болезни, знать ее сильные и слабые стороны. Тогда она сможет гордиться своей страной, беречь ее, а главное – она сможет предотвратить и уберечь ее от исторических срывов, от которых в реальной напряженной ситуации не защищена такая сложная страна, как Росси.

Эта книга – отнюдь не историческое исследование. Это вид из окна или «с бреющего полета», воспринятый глазами неинформированного, загнанного, но не равнодушного «совка»: имеющий глаза, да видит; имеющий уши, да слышит; имеющий мозговую извилину, да шевелит ею; имеющий сердце, да откликается. И ничего более... Это своего рода «Герника»: уродливое, разметанное, разрушенное.

Но это не полотно – это лоскутное одеяло, мозаика. Большие мастерицы и мастера и то, и другое могут создавать, как произведения искусства. Автору сих строк далеко до такого мастерства: здесь много шероховатостей, повторов, прорех. Многие повторы можно объяснить требованиями контекста, но чаще, возможно, особенностями создания этих записок. Книга создавалась не по единому задуманному плану, а писалась много лет, как своего рода дневник, заметки, впечатления. К одному и тому же вопросу жизнь, обстоятельства, новые сведения заставляли иногда возвращаться не однажды, рассматривая явление с новой стороны, в новом контексте, и убирать при этом повторы значило бы обеднять мысль. (Говорят, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Я в течение многих лет входила в одну реку, но каждый раз немного в другую...). И еще: каждая глава в некотором роде отдельная тема, но все главы объединяют единые причинно-следственные связи, у них общие, единые корни. Поэтому утешает одно: наша память любит повторы. Местами – это картина в стиле пуантилизма. Иногда эта дневниковая структура многолетних записей похожа на поток сознания. Переделывать было поздно: не было ни времени, ни сил. Да простят мне это читатели, ежели таковые когда-либо будут. (Я попыталась оправдаться...).

Думается мне, что, проливая слезы над судьбой России, я пропела ей гимн!

Немного из биографии

Я родилась в июле 1935-го года в г. Лисичанске в Донбассе, на Украине. Там был родительский дом моей мамы. Туда все бабушкины дочери, где бы они ни жили, приезжали рожать своих детей. Моя мама приехала из Харькова.

Вот одно из первых детских воспоминаний. Двор нашего дома в Лисичанске. Во дворе много вынесенных стульев, на них сидят наши мамы, бабушка, дедушка, гости. Мы, три двоюродных сестры: Лилюша 14-ти лет, Галочка 8 лет и я, самая младшая, мне 3 года, – ставим «Демьянову уху» Крылова. Демьян – старшая, я – его жена в длинном до пят сестрином сарафане и платочке, Галочка – Фока. Моя роль – кланяться, когда Демьян скажет: «Да кланяйся ж, жена» – я кланяюсь. Это 1938 год.

Не знаю, как определить сословие, к которому относились мои прародители по маминей линии: рабоче-крестьянскому или мещанскому. Не знаю, были ли их предки крепостными (ведь нас воспитывала советская власть «иванами – родства не помнящими»). И у бабушки, и у дедушки братья были инженерами, их жены – учителями, акушерками; все сестры – с церковно-приходским образованием: девчонок в обеих семьях не учили. Мой дед был шалопай, образования он тоже не получил, был «вольный художник» – кузнец, известный в округе. Во дворе стояла кузня с горном и мехами, в мою бытность уже не работавшими. Его рабочий сарай был завален различными фигурками, выточенными из мела. На полу кухни и веранды, на твердом грунте двора (Донбасс – место сухое) он писал свои «стихи», сочинял частушки и иногда по вечерам распевал их на «парадном» крыльце, играя на гитаре и собирая зевак.

Бабушка была человеком удивительным. Человек несомненно одаренный, она очень страдала оттого, что не получила образования, и дала себе слово непременно дать образование всем своим детям, вопреки воле деда, от которого она в связи с этим имела много неприятностей, вплоть до колотушек (пока не подросли сыновья). И все ее дети получили высшее образование. Но это стоило ей таких трудов, которые не укладываются в моем воображении, хотя я, может быть, более других, кроме ее старшей дочери, унаследовала некую толику ее трудоспособности. У нее было 11 детей, выжило 6, двое сыновей и четыре дочери. Оба сына воевали в царской армии. Старший, первенец, любимец, красавец погиб в возрасте 21 года в чине ефрейтора. Второй сын отсидел за это свои 5 лет (всего 5, спасло, вероятно, социальное происхождение и то, что он был в армии очень недолго и совсем мальчишкой.)

Как бабушка успевала держать дом, печь хлеб, работать в поле (обрабатывать, десятину земли), содержать домашний скот (в разное время бывали и лошадь, и корова, и свиньи, и овцы, и птица). И еще она держала на полном пансионе студентов: нужны были деньги, чтобы учить детей. Помощников у нее практически не было. Правда, старшие дети с 13 – 14 лет сами давали уроки. Когда старшая дочь окончила гимназию, в актовом зале к ней подошла заведующая, обняла ее и сказала: «Посмотри, Верочка, в зал: кто из них не побывал в твоих учениках?» – Тетя преподавала все: и математику, и языки, и литературу. Она была очень способной.

(Семья жила нелегко, трудились все, и больше всех – бабушка. Однако во времена раскулачивания они были внесены в «черные» списки. В то время в доме жили одни старики: дети все разъехались. Никакого скота, никакой земли не было. Во дворе стояла полуразрушенная кузня, в которой дед изредка по чьей-либо просьбе делал мелкие поделки.

Моя мама в это время училась в Харькове, была активной пионеркой. Узнав об этой угрозе, она не побоялась пойти к самому Григорию Ивановичу Петровскому – председателю ВУЦИКа (Всеукраинского Центрального исполнительного Комитета). Родители, а возможно, и все дети, были спасены.

В доме всегда звучала музыка, все имели хорошие голоса и пели: соло, дуэтом, хором. Пели по нотам, хотя специального музыкального образования не имели. Старшие сестры

до революции пели в любительской опере, правда, в хоре. (За всю свою жизнь я услышала очень мало романсов и песен, которых бы не слышала дома, прежде всего от мамы: русские романсы, украинские и русские песни, песни Вертинского, Лещенко, Изабеллы Юрьевой, революционные песни, пионерские и комсомольские песни 20-х годов. Позже я брала их уже и самостоятельно из внешнего мира.). Братья играли практически на всех инструментах: на всех народных и на фортепиано. В доме всегда было весело, шумно, ставились спектакли, танцевали. Как бабушке удавалось создать и поддерживать такой стиль жизни, не знаю.

Дети любили ее до обожания и любили друг друга. Когда она умирала (ей был 71 год) от воспаления легких, у ее постели в больнице собрались все дети, приехавшие из разных городов страны, ее последние слова были: «Мое вам завещание: будьте после моей смерти такими же дружными, как при моей жизни». – Потом сказала: «Я устала» – Закрывает глаза, тихо уснула и не проснулась. Это было 5-го июня 1941-го года, за 17 дней до начала войны.

Дети потом много раз благодарили судьбу за то, что она не дожила до кошмара, который на нас вскоре обрушился.

Дети остались дружны до конца своих дней. Они жили в разных городах, далеко друг от друга, но постоянно друг друга поддерживали и каждый год отпуск проводили вместе. Сейчас остались только их дети, двоюродные. Мы уже старики, но мы продолжаем любить друг друга, любить и помнить наших мам и с благодарностью вспоминать наше родовое гнездо, из которого мы вынесли чувства любви и верности, которые грели нас всю жизнь и позволяли выживать, держаться, не терять мужества и веры в невероятно тяжелые времена, которые всем нам выпали на долю.

К отцу дети относились прохладно. Он умер зимой 1942 года во время оккупации.

Папа мой был единственным ребенком своих еврейских родителей. Но и дедушка, и бабушка происходили из многодетных семей. Отец деда моего до революции держал постоянный двор, отец бабушки – аптеку. Все дети в обеих семьях получили высшее образование. Среди них были юристы, врачи (эти профессии еще до революции стали доступны евреям), дедушкины дядья были довольно известными земскими врачами; в советские времена среди моей еврейской родни были ученые, конструкторы, писатели, актеры, юристы, врачи. Дедушка мой был довольно известным юристом. (в конце 20-х годов он был в Харькове председателем областного суда; Харьков в то время был столицей Украины). Бабушка долгие годы вела театральную студию на одном очень крупном московском заводе.

Обе семьи были очень дружные. Всех, кого мне довелось из них знать, я любила, и они дарили мне тепло и ласку. Мои родители встретились в Харькове в профшколе. Мама приехала туда учиться после окончания лисичанской семилетки. Папа в Харькове жил. Потом они оба поступили в Харьковский институт народного хозяйства: мама на финансово-экономический факультет, папа – на факультет внешних сношений.

Детская любовь, возникшая почти с первого взгляда еще в профшколе, переросла в любовь взрослую, и я – единственный ее плод.

Тогда, в 1938-ом, с которого я начала главу, наверное, основной радостью нашей жизни было тепло наших семейных отношений, тем более, что это было время, когда людей разобщали, озлобляли, разлагали страхом и тотальной ложью.

Не помню, когда, но довольно рано, мне кажется, еще до войны (война началась, когда мне не было еще шести), мама мне сказала: «Твой папа осужден как враг народа, но никакой он не враг». – Я не задавала вопросов, но запомнила это на всю жизнь: наверное, у детей, как у зверушек, нет понимания, но есть очень мощная интуиция.

Моего папу очень любила вся семья, и по его линии, и по маминой. Он был добр, умен, красив, прекрасно пел. Жизнь его была сломана, когда ему было 19. После бурной политической дискуссии 1927 года, в которой он принимал активное участие, он был исключен из института (он кончал 3-й курс) и арестован, но тогда он пробыл в тюрьме всего 3 месяца. Вернуться

в институт ему не дали. В 1937 году он был снова арестован (10 лет спустя, за «грехи» студенческих лет), а в 1938 – расстрелян. О расстреле мы узнали уже в хрущевские времена. Но об этом – дальше. Сейчас я хочу лишь сказать, что на меня излилась вся любовь не только, как на сиротку (папу арестовали, когда мне было полтора года), но и как на единственное, что от него осталось. (Моя мама – красивая, веселая, певунья – тоже была любимицей обеих ветвей моей семьи: маминой – русско-украинской и папиной – еврейской). В этой любви я выросла. Времена были нелегкие (легких времен в России, наверное, никогда не было, а в 20-ом веке – тем более). Но к каждому празднику из разных городов я получала посылки с игрушками, книжками, вещами. Я тоже горячо любила всех. Как человек благодарный по природе, я не только в детстве, но и много позже всегда хотела делать подарки, дарить радость. Но удавалось очень мало: бодливой корове Бог рог не дает... А, может быть, и не в корове дело... Любовь, которая меня окружала, – это был тот жизненный эликсир, который был моим главным жизненным богатством, он наполнял меня силой, и эта сила позволяла мне справляться с трудностями и бедами.

В 1937 – 1938 гг. после ареста папы моя мама, поскитавшись в поисках работы более полугодом и не получив ее, как жена репрессированного, с ребенком на руках вернулась к родителям. Наверное, эти скитания: Урал, Харьков, Лисичанск – нас спасли. Жена и дочь расстрелянного должны были, по крайней мере, быть отправлены в ссылку. Нас просто потеряли... (Наверное, Сталин, если бы на том свете прочел бы мою книгу, на полях написал бы: «Не добил!» И матерную брань. Не зря добивал...). Так или иначе, мы с мамой снова оказались в Лисичанске, на этот раз – надолго.

Примерно метрах в двухстах от нашего лисичанского дома был детский сад, во дворе которого почти целый день играли дети, и я стала убегать к ним. Когда оттуда пришли воспитатели и сказали: «Или отдайте девочку в сад или не пускайте ее к нам: она играет с нами, а когда мы уходим есть или спать, мы оставляем ее одну», – меня отдали в сад. Детский сад – это светлая полоса моей жизни. Одна из наших воспитательниц прекрасно рисовала. Другая была балериной; из-за травмы ноги она оставила балет. Они устраивали изумительные утренники, с прекрасными танцами и костюмами. Костюмы делались из накрахмаленной крашеной марли, из цветной бумаги. Танцы оттачивались. Танцевали вдохновенно. Однажды самый крупный и красивый наш мальчик, всеобщий любимец, в танце потерял сапог (наверное, сапог был великоват, а танцор горяч), но продолжал танцевать. Об этом потом долго с восторгом и смехом вспоминали.

Я не была сильна в танце. Я хорошо читала стихи.

Заведующая наша была маленькая толстенькая женщина. Когда она входила в зал, мы, оставив свои занятия, бросались к ней, и она превращалась в виноградную гроздь – каждая ягода висела там, где смогла уцепиться: на шее, на руке, на ноге... (Во время оккупации она организовала приют для осиротевших детей и выбивала у немцев для них питание. После освобождения ее должны были судить «за сотрудничество с немцами». Но людям удалось ее отстоять: ведь она спасала детей тех, кто погиб во время войны на фронте и в тылу).

Еще у нас в саду была удивительная личность – наш повар Мария Андреевна. Дома я ничего не ела, давясь, глотала что-то «за дедушку, за бабушку, за папу, за маму», за всю мою родню (и никого нельзя было обидеть), но когда в нашу детсадовскую столовую приходила Мария Андреевна, в белом халате, в белом высоком колпаке, румяная, с ведром подмышкой, с большим половником и разливала нам по тарелкам ненавистную манную кашу, я помню, с каким аппетитом мы все ели, описывая вокруг каши сужающиеся круги: каша всегда была с пылу-с жару.

Однажды под Новый год наши воспитатели сказали нам, что нас ждет сюрприз. После полдника нас повели в «Комнату сказок». Мы вошли в нее с закрытыми глазами. Когда нам разрешили открыть глаза, раздался шумный вздох восторга. На полу комнаты лежал ковер.

Стены были завешены полностью «полотнами» картин на сюжеты русских сказок (их рисовала наша Тамара Тимофеевна). С потолка свисали на ниточках гирлянды снежинок из ваты. Их было много-много, и все, казалось, было в мареве снега. Комната освещалась разноцветными фонариками. Впечатление осталось в памяти на всю жизнь.

Сейчас, вглядываясь в глубину тех лет, я думаю об этих людях, об этих бессеребренниках, которые самозабвенно в такие страшные годы, в нашей нищете и бедствиях окружали детей теплом, радостью и красотой.

Начала войны я не помню. У меня не было погожего июньского воскресенья, взорванного страшным событием, расколовшим жизнь всего народа на «до» и «после». У меня не было крутой перемены в жизни: мой отец не ушел на фронт – он был расстрелян раньше. Просто в жизнь стали входить какие-то новые люди и события. Постепенно из этого складывалось детское понимание: война. Полное же понимание происходившего пришло десятилетия спустя.

Осенью 1941-го какое-то недолгое время у нас на постое было 30 казаков: они спали покатым в зале. Их голодные лошади стояли во дворе. Они съели под корень старый большой дедушкин сад, деревянное крыльцо и ворота. (После войны у нас был молодой сад – он вырос от старых корней). Голодали лошади, голодали люди, голодали мы. Голод наступил, в сущности, летом 1941-го, и для нас (на Украине, в Донбассе) он продолжался до осени 1947-го. Какое-то заметное облегчение пришло после отмены карточек в декабре 1948-го.

Стояли у нас на квартире двое очень молодых и симпатичных ребят – Шура (радист) и Вася (шофер). Если они ели дома, они всегда приглашали нас: мне запомнилась большая сковорода, вокруг которой все собирались.

Голод гнал горожан в деревни менять вещи на продукты. Вряд ли деревня была богата в те времена. Но, в отличие от времен голодомора, ситуация была обратной: деревня что-то имела, город – практически ничего. Поэтому деревенские были переборчивы и не щедры. За хорошую шубу можно было получить полтора пуда пшеницы. У нас не было шуб. Иногда мамочка моя приходила в слезах: пройдя за день 30—50, а иногда и более километров, она приносила мисочку зерна или пшена, иногда четвертушку подсолнечного масла, а нас было трое: мама, бабушка и я. При этом ноги у нее были отечные, как столбы. До сих пор не знаю, от голода или от усталости: в старости таких отеков у нее не было.

Осенью 1941-го немцы подошли к самому Лисичанску. Несколько раз их отгоняли «катюши». Я помню, как мы: мама, ее подруга, которая жила в это время у нас, и я – бежали по дому от окна к окну, чтобы видеть огненные облака, которые летели по небу. Дом дрожал, казалось, качались стены и земля. На всякий случай, на нас было надето несколько слоев одежды: если снаряд попадет в дом, а мы выживем, чтобы мы не остались без одежды. Моя мама во время войны вела себя очень смело, и я до сих пор не знаю, был ли причиной тому ее сангвинический характер, было ли это легкомыслие, фатализм или, действительно, смелость, но поступки ее очень часто выходили за рамки спокойного благоразумия. А, может быть, мудрость... Она никогда не пряталась в погребе от бомбежек и артобстрелов (погреб у нас был глубокий, большой, сухой и всегда в опасные моменты полон соседей). Этой смелостью (или легкомыслием) она заражала свое окружение.

Всю зиму 1941—1942 годов немцы простояли на подступах к нашему городу. Иногда к нам забегал комиссар дядя Володя – прямо с передовой, которая была в нескольких километрах от нашего дома. Он рассказывал, что между боями и наши, и немецкие солдаты бежали из окопов греться в ближайшие дома и, не глядя друг на друга, грели руки, стоя рядом у печей. А потом разбегались по окопам, чтобы убивать друг друга... (Зимы 1941—42, 1942-43-го годов были лютые).

Уехать в эвакуацию было практически невозможно. А у мамы на руках был больной отец, который был нетранспортабелен, и полуеврейская дочь, жизнью которой она рисковала. Может быть, если бы мама была практичнее, расчетливее, настойчивее, холоднее, она бы

нашла какой-либо выход, но все же, надо полагать, это было в той ситуации за пределами возможного. И мы остались дома, уповая на судьбу, на Армию нашу, на «авось» – в условиях полной дезинформации это было не очень трудно.

До самого прихода немцев в городе шла какая-то жизнь: я ходила в детсад, мама – на работу: она была экономистом и работала в промбанке. Раз два я была в госпитале, читала стихи раненым. Наверное, я там была не одна, но помню только большую палату, много перевязанных раненых и то, что меня ставили на стул.

Во время артобстрелов мы в детском саду спускались в погреб. Там нам стелили ковры, зажигали свечи, и наши воспитательницы рассказывали нам сказки. Иногда туда же нам приносили еду. Артобстрелы учащались. Однажды мы два дня почти целиком провели в подвале, а на третий день (это было 2-е июля 1942 года) я снова пошла в сад. Из дома мы с мамой вышли вместе: она шла на работу, я – в сад.

Во дворе детсада было пусто. Помню, что меня поразила не пустота, а какое-то злое, предчувствие. Навстречу мне вышла наша повар Мария Андреевна и сказала: «Танечка, а детсад сегодня не работает». Я выскочила на улицу, окликнула маму (она не успела еще уйти далеко) и попросила ее взять меня с собой.

Мы не прошли и двухсот метров, как услышали заунывно-устрашающий рев немецких бомбардировщиков: два самолета кружились, казалось, над самыми головами. Из дома напротив выскочили две мамы приятельницы с криком: «Скорей, скорей в бомбоубежище: сейчас будет бомбежка!» Мы были как раз рядом со знаменитой большой лисичанской баней. Оказалось, что под ней было огромное, почти во всю ее длину, бомбоубежище. Когда мы в него вбежали, оно было полно народа: целые семьи, с домашним скарбом, сидели на своих узлах. Нам с мамой с трудом нашли местечко в углу на скамейке. Едва мы пробрались в угол, началась бомбежка. Грохот, взрывы следовали один за другим. Иногда открывалась дверь в убежище (мы сидели от нее далеко) – входили солдаты, вносили раненых. Многие люди плакали. Мамочка шепнула мне: «А ты не плачь: умрем – так вместе». Чем сильнее были разрывы, тем крепче мамочка прижимала меня к себе. Это была моя первая встреча с реальной военной опасностью, и мама в этот момент испытания детской души сумела передать мне часть своей твердости и спокойствия, и с этим я прошла всю войну, хотя встречаться с опасностью, бороться со страхом мне пришлось еще не однажды.

Когда бомбежка прекратилась и стало как-то особенно тихо, в убежище вошел директор бани и сказал: «Товарищи, освободите помещение – мы будем взрывать котлы». (Баня – объект стратегический. Такие объекты старались немцам не оставлять).

Мы выбрались из убежища, вышли на улицу. Город был неузнаваем: всюду валялись осколки стекла и черепицы, упавшие столбы электролиний, спутанные провода. Разбитых домов я не помню. Бомбили какие-то другие объекты, не мелкие жилые дома. Но взрывные волны снесли крыши, выбили стекла, и город, только что зеленый и чистый, почти мирный, казался разрушенным и поруганным. Мы с мамой по осколкам и обломкам, перепрыгивая через провода, побежали дальше: мамочка моя не повернула домой – она бежала на работу, в банк. До банка было еще метров 300. Когда мы до него добежали, два новых мессершмидта, еще более гадко и надрывно завывая, совсем низко кружили над нашими головами. У ворот банка в подводу, в которую была впряжена одна лошаденка, грузили мешки с банковскими документами. (Их настигла бомба на мосту через Донец: и люди, и лошаденка, и документы утонули в реке.)

Через несколько минут после того, как мы добежали до банка, началась вторая бомбежка. Здесь не было бомбоубежища. Мы укрылись в комнатке (она была вровень с землей), в которой Госбанк хранил деньги. (Промбанк и Госбанк были в одном здании). В комнатке были нескораемые шкафы, какие-то койки, две железные двери и мощные запоры.

Комнатка тоже полна была народа. Почему-то было много маленьких детей. Мы с мамочкой снова оказались в углу, и она так же крепко прижимала меня к себе. Вторая бомбежка была намного продолжительнее и намного страшнее первой. Люди молились. Самым страшным был момент, когда большая бомба упала во двор банка. Взрывной волной вырвало и унесло обе железные двери нашего убежища. Волна огня ворвалась в помещение. К счастью, не было ни убитых, ни раненых. Наверное, были контуженные. Моя мама после этого довольно долго плохо слышала. Я осталась цела и невредима: наверное, мамочка надежно прикрывала меня своим телом. Для меня самым страшным впечатлением от этого эпизода остался плач детей: они кричали долго, громко, безутешно, страшно (их было трое – крошек до полутора – двух лет). После этого я, наверное, лет 15 не выносила детского надрывного плача: я не находила себе места, мне становилось необъяснимо плохо...

Потом стало тихо, страшно тихо... Мы выбрались из убежища. Воронка от бомбы началась от самого его порога и занимала почти весь двор банка. Здание было старинной каменной кладки: так строили крепостные башни и стены. Оно устояло. Но длинного ряда огромных красивых окон почти не было: стекол не было вообще, не было и части рам. Все было завалено внутри и снаружи каким-то мусором: штукатуркой, черепицей, стеклами, обломками мебели.

Двор банка был отделен от улицы большими зелеными (наверное, дубовыми) воротами. Они тоже устояли, только были изрешечены осколками. Все оставались во дворе, боясь выйти за ворота. Не знаю, когда кончилась бомбежка, но хорошо помню, что было 4 часа дня (так говорили взрослые), когда раздался грохот мотоциклов. Немецкая моторизованная пехота шла по улице. Мы смотрели на нее через осколочные отверстия в воротах. На противоположной стороне улицы стояли двое, мужчина и женщина, в белых одеждах и белых туфлях – они приветствовали немцев.

Когда сумерки стали сгущаться, мы с мамой окольными путями пошли домой. К счастью, мы никого не встретили. Дома оставался дедушка. Дом наш тоже пострадал. В палисадник упала бомба, но небольшая, поэтому стена осталась стоять (наверное, ее защитили большие деревья, которые росли перед домом), но осыпалась вся штукатурка внутри и снаружи, стена и осыпавшийся потолок в зале были как решето, большое трюмо упало и разбилось. Дедушка в тот момент, когда упала бомба, был на веранде, но остался невредим, только щека была поцарапана осколком.

На следующий день у нас на постое уже было двое немецких солдат. Но до этого, конечно, было проверено, нет ли в доме советских солдат и коммунистов (надо сказать, двое солдат, которые их искали, делали это не очень тщательно). А потом явился мародер, немолодой немец, который стал рыться в нашем шкафу и комод, переворачивая вещи штыком. Но наши жалкие пожитки не привлекли его внимания. Ему приглянулся небольшой кожаный черный портфель, не новый, но в очень хорошем состоянии, с большим количеством самых разных отделений. Он его прихватил, а мама не удержалась и сказала: «И вам не стыдно? Пошлете своей фрау в Германию?» – «Но-но», – сказал немец, пригрозил маме пальцем и ушел. Вечером, когда мама закрывала ставни, он проезжал мимо на телеге, полной награбленного добра. Увидев маму, он крикнул ей: «Метхен, лови», – и бросил ей портфель. Наверное, он потерял свою ценность на фоне награбленного. А я проходила с ним в школу с 1-го по 9-й класс, пока он совсем не вытерся добела.

На этом мое пребывание в Лисичанске, который еще долгое время оставался на линии фронта, несколько раз переходил из рук в руки, прерывается. Через несколько дней после того, как в Лисичанск вошли немцы, из Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован раньше, пришла моя тетя, чтобы спасти полуеврейское дитя своей младшей сестры, увезти меня туда, где никто не знал, кто я. Тетя прошла пешком, проехала на перекладных, на военных немецких машинах 150 километров и, без долгих сборов, увезла меня в Сталино.

Дорога в Сталино – тяжелое воспоминание. Мы ехали также «на перекладных» – на военных машинах. Большую часть пути проехали на небольшом итальянском фургоне со скошенным носом и крытым брезентом верхом. Российские дороги – это испокон веков «притча во языцех», но военные дороги, разбитые военной техникой, бомбежками и артобстрелами, трудно описуемы. В закрытом фургоне мы каждые несколько минут валились (летели, падали) с одного борта на другой. Мне, маленькой девочке, никогда не попадавшей в подобную передрягу, казалось каждый раз, что машина падает и мы погибаем. Между падениями мы не успевали прийти в себя. Это очень изматывало. Так мы провели день, и уже под вечер очередная машина высадила нас на окраине Сталино, точно так и не знаю, в 11-ти или 18-ти километрах от дома. Дорога домой казалась бесконечной. Но самым тяжелым оказалось последнее испытание: нужно было подняться на 4-й этаж. Не знаю, сколько мы шли, но через каждые 3 – 4 ступени мы садились отдыхать. Но мы все же дошли.

Тетя жила в трехкомнатной коммуналке. В одной комнате жила некая Шура, которую мы почти никогда не видели, и две комнаты занимала тетя с дочерью, но в тот момент в одной из них было на постое 5 немецких солдат, молодых парней: младшему было 19, старшему 32 – все его звали «стариком». Они вышли в переднюю, когда мы пришли. Наверное, у нас был весьма красноречивый вид, особенно у меня. Я была маленькая и очень худая. (Я вообще ростом не вышла, может быть, в определенной степени потому, что в детстве 7 лет очень голодала). К тому же я всегда плохо ела и не была упитанной даже до войны. Но сейчас за спиной был уже целый год голода: голод начался фактически с первых дней войны. А сейчас еще такой тяжелый день: военные дороги, военные машины, пеший марш-бросок – без еды и питья. Во всяком случае, через несколько минут 5 рюкзаков с солдатскими пайками были в тетиной комнате (что совсем не характерно для немцев). Я запомнила 5 банок сливочного масла. Думаю, что я его не видела с первого дня войны, а возможно, и мирное время не баловало нас этим продуктом. (Я знаю, что до войны дедушка становился в очередь за хлебом (это на Украине) в 3 часа ночи...) Наверное, на столе были и хлеб, и шоколад, и что-то еще, но я ела только масло, пальцем, из всех пяти банок.

Первые пять дней солдаты приносили свои обеды из столовой домой и кормили меня. Потом им это надоело, я, наверное, как-то пришла в себя, и все успокоились. Все, кроме одного, – Гюнтера. Гюнтер – это особый эпизод в моих военных воспоминаниях. Он был очкарик, красивый кудрявый блондин, очень высокий (он разбил голову о притолоку двери и долго ходил с крестом из пластыря на макушке, как с бантиком.) Ему было 25 лет. Он был единственный сын у матери. Был ли он студент или рабочий – не знаю. Может быть, знала тетя, но я давно уже ни о чем ее спросить не могу...

Гюнтер продолжал приносить обеды домой и делить их со мной. Через некоторое время солдат, которые у нас стояли, перевели на другие квартиры, и я никого из них больше не встречала. Но Гюнтер оказался в нашем же доме, в нашем подъезде, этажом ниже (теперь я думаю, он попросил об этом). И по-прежнему он прибегал в обед: «Тайня, эссен-эссен, ком-ком. Шнель-шнель!» – И я бежала к нему вниз. Однажды я разлила на скатерть – не на клеенку – полный стакан кофе с молоком. (Так питались немцы!). Я была в ужасе. Но он не ругал меня, а утешал. Иногда он брал меня вечером, и мы шли с ним гулять в сквер. У нас довольно долго сохранялся обрезок фотографии, на которой я стояла с максимально высоко поднятой рукой: Гюнтер держал меня за руку, но его на фотографии не было – тетя его отрезала. Он даже пытался иногда укладывать меня спать и рассказывать мне сказки, но для сказок нашего с ним русско-немецкого тарабарского наречия, на котором мы с ним легко общались, было недостаточно.

Рождество 1942 года немцы отмечали бурно, шумно (у нас в это время на постое никого не было), выскакивали на балконы, выкрикивали что-то, палили в воздух. Это было еще до разгрома под Сталинградом, они еще чувствовали себя победителями. А Гюнтер пришел к нам, принес рождественский ларчик с печеньем и свою художественную фотографию с дарственной

надписью. Мы вдвоем: тетя, Гюнтер и я – сидели на железной койке в кухне, и тетя с Гюнтером о чем-то тихо разговаривали. Много времени спустя я узнала от тети, что Гюнтер ненавидел войну, Сталина и Гитлера. Поэтому он избегал солдатских компаний, нередко приходил поболтать с моей тетей (он называл ее мамой), и дружба с маленькой девочкой, наверное, тоже была какой-то отдушиной.

В какой-то момент почти все солдаты, жившие в нашем доме, исчезли – ушли на фронт. Бои шли, по-видимому, недалеко от Сталино, и через некоторое время значительная часть солдат вернулась на старые квартиры. Гюнтера среди них не было. Был он ранен или убит – неизвестно: спросить было не у кого. Светлую память об этом немецком юноше я сохранила на всю жизнь. Когда изменились времена, я, пожалуй, попыталась бы его найти, но имени его я не знала. Его фотографии тетя уничтожила: за них мы непременно отправились бы в ГУЛАГ. Вспоминая о нем, мне хочется отметить еще одну деталь: летом в жару немецкие солдаты ходили в трусах – сатиновых черных; теперь такие трусы называют «семейными». Гюнтер никогда не ходил в трусах: думаю, он считал, что это демонстрация неуважения к населению.

До войны и, следовательно, во время оккупации тетя моя жила в самом центре Сталино. Наш дом пятиэтажный в центре и четырехэтажный по краям стоял внутри огромного прямоугольника, образованного сомкнутыми пятиэтажными домами. Сторона прямоугольника – большой квартал. Внутрь двора вели две арки и вход со стороны небольшого сквера. Один угол двора образовывало Г-образное 5-этажное здание, сожженное нашими при отступлении. Одно время там под сгоревшими стенами за колючей проволокой прямо на снегу лежали и сидели наши военнопленные. Я не знаю, как долго они там находились: была зима, и я почти не выходила из дому – не в чем было. Я ничего не понимала. Взрослые с детьми, как и между собой, не обсуждали опасных тем: сталинский террор научил людей молчать. Это сейчас, спустя десятилетия, я, как в телескоп, рассматриваю события, которые сохранила моя детская цепкая память, и пытаюсь их осмыслить. Несколько лет назад моя сестра, с которой мы жили в те страшные годы (ей тогда было 18), дочь моей спасительницы тети Веры, рассказала мне, что однажды, когда она шла недалеко от колючей проволоки, за которой были наши бойцы, молодой конвоир, который ходил вдоль этой изгороди, поравнявшись с ней, тихо сказал: «Дай им хлеба – я отвернусь». Но хлеба не было... Голод – это было постоянное ощущение в течение всех лет войны и первых лет после войны. Когда, куда и как ушли военнопленные, я не знаю.

В противоположном конце нашего двора было такое же Г-образное пятиэтажное здание. В нем было общежитие СС. Однажды мы шумно играли у того края нашего дома, который был ближе всего к этому зданию. Солдаты, которые были у нас на постое, загребли нас всех в охапку, увели подальше оттуда и тихо сказали: «Никогда не играйте в той стороне дома и не шумите – это опасно». Почему, мы не поняли, но запомнили.

Однажды мне, полуеврейской девчонке, тем не менее удалось даже побывать внутри этого здания. Я была дистрофиком. От голода у меня колени, локти и углы губ были покрыты язвами с мокнущими корками. Не помню, кто, как и почему привел меня в медсанчасть этого дома. Я запомнила медсестру, блондинку, в чистом крахмаленном светло-зеленом халате-сарафане, белой кофточке и белой косынке. Запомнилось ее недоброе брезгливое лицо. Но язвы мои она мне чем-то смазала. Меня водили туда дважды, и язвы мои исчезли.

Я ничего не понимала в сути происходящего, я просто фиксировала его в своей памяти. Я не понимала, почему тетя увезла меня из Лисичанска от мамы. Когда тетя привезла меня в Сталино, она 4 дня не выпускала меня из дома. Выходить я могла только на балкон. – Смешно, глупо, опасно, но – факт: вот что страх делает с человеком. На пятый день я убежала. Когда я вернулась, тетя больно выдрала меня за шкафом резинками от кружки Эсмарха. (Надо сказать, что бить детей у нас в семье принято не было – это тоже был продукт страха.) Плакать не разрешалось. На следующий день я снова сбежала, и снова была порка. Тетя била, неистово, нервно, со слезами. Странно, меня, в сущности, никогда не били, и такая экзекуция была для

меня внове. Но я не обижалась на тетю. Хотя я была еще маленькой, я понимала, что тетя меня любит, что она чего-то боится. Я сдерживала слезы, но упорствовала и продолжала убежать. В конце концов, я заявила: «Вера, сколько бы ты ни была меня, я буду убежать». И тетя отступилась. (И где только ни носило нас, стайку чумазых, голодных воробышек: по каким-то минным полям, по разбитым паровозам и вагонам, но Бог нас хранил, а взрослые ничего об этом не знали.) Но то, чего тетя так боялась, все-таки стряслось. Поскольку я не знала, чего надо бояться, в какой-то болтовне с дворовыми ребятами я сказала: «А мой папа еврей». В тот же день к моей тете пришли и спросили: «Так Ваша племянница еврейка?!» – Назавтра я была уже далеко на окраине города у весьма пожилых друзей моей тети – тети Тани и дяди Саши, в их отдельном домике и отдельном дворике. Не знаю, сколько времени я провела у них – месяц, два? Когда стало ясно, что все обошлось, что никто никуда ничего не донес, я вернулась домой.

Я была так глупа, что уже будучи ученицей старших классов, студенткой первых курсов института, никогда не попыталась встретиться с этими людьми, посмотреть им в глаза, поклониться им в пояс. Правда, мы жили в разных городах, но все же я, хоть и не часто, бывала в Сталино – потом Донецке. Когда стало приходить осознание происходившего, ни тети Тани, ни дяди Саши не было в живых.

Голод – не тетка. Он проходит красной нитью через все мое детство, с 1941 по 1948-й год. Но степень недоедания бывает разная, и самый тяжелый голод был во время оккупации.

Единственным источником продуктов была деревня, но она сама была бедна, капризна и не щедра. И моя тетя дважды отправлялась в Лисичанск поискать в бабушкином сундуке что-либо, что примет деревня. Но на это надежды было мало. Более надежд она возлагала на соду: в Лисичанске был еще в царские времена основанный содовый завод – он и в советские времена был союзного значения. Мыло во время войны – продукт бесценный. Но это продукт стратегический и потому опасный: гражданское население немцы карали за покупку, продажу, распространение мыла. Но... голод – не тетка. И тетечка моя рискует привезти оттуда в Сталино немного соды: на рынке ее из-под полы продавали рюмочками. Что такое жить без мыла, знают те, кто это испытал: это вши, чесотка, болезни, тяжелый дискомфорт. (Моя бедная тетечка и после войны долгие годы экономила мыло: стирала руки в кровь, чтобы отстирать белье с малым количеством мыла.) На вырученные от продажи соды деньги можно было купить хлеб.

И тетя моя ушла. В назначенный день она не вернулась. На следующий день тоже. Мы заволновались. Моя сестра обнаружила, что в кармане ее жакета треснуло маленькое зеркальце: с мамой что-то случилось – решила она. И бросилась на поиски. (И тетя моя, и сестра хорошо говорили по-немецки. Тетя еще с гимназических времен, а сестра, как ни странно, в советской школе, которую она не успела окончить до оккупации, научилась неплохо говорить. Потом языки стали ее профессией. Зная язык, можно было надеяться что-то выяснить. Немцы ценили знание их языка. Я не помню, как долго она искала тетю, но нашла она ее в каменоломнях. Сколько времени провела тетя на этих каторжных работах: 10 дней – 14 – не знаю, но домой она вернулась измученная, поникшая.

Это был тяжелый урок. Но настали холода, и нужда снова погнала мою тетечку в Лисичанск. Теперь она пошла в основном за моими теплыми вещами. Мы ушли с ней из Лисичанска в июле налегке: никто не знал в то время, как долго продлится оккупация, будем ли мы живы, как мы будем добираться. Но до холодов дожили, а одежды не было.

Когда она ехала обратно, в поезде (или на вокзале) был досмотр. Соду она уже не везла. Она везла мои теплые вещи, какие-то скатерти и белье для деревни. Мои вещицы понравились переводчице: у нее была дочь моего возраста (тетя эту даму знала). А вещи у меня действительно были хорошие, из Германии. Папин дядя проходил стажировку (или учился) в Германии – он жил там с семьей лет 5 в начале 30-х годов (он был конструктор, позднее профессор, дважды Лауреат Сталинской премии). От его дочери (моей тети – сестры – друга – доброго

гения всей моей жизни) я тогда получила это наследство. Вещи были уже не новые, но аккуратно штопанные, яркие, красивые (на фоне нашей большевистской нищеты) и переводчица стала кричать, что моя тетя первая спекулянтка (дас ист ерстед спекулянтен – я запомнила тетин рассказ). У тети моей отобрали абсолютно все, отправили в Гестапо и там избили.

Накануне ее возвращения у нас соскользнуло со стола и разбилось в мелкое крошево туалетное зеркало. И снова сестра моя в ужасе воскликнула: «Что-то случилось с мамой!». А назавтра тетя пришла домой, в разорванной одежде, вся в синяках, кровоподтеках, почти невменяемая. (С тех пор я плохо отношусь к разбитым зеркалам). Но, чуть подлечив свои синяки и раны, она пошла искать правду. Не знаю, сколько раз она туда ходила, но один раз она взяла меня с собой. Мы шли с ней морозным утром. Под ногами с хрустом ломался лед, затянувший лужицы на асфальте. На мне было летнее из тонкого шевиота пальто, сшитое из дядино-го форменного пиджака. На ногах были туфельки из тонкой кожи, уже почти босоножки, потому что из протертых дырок торчали почти все пальцы. Меня она привела как доказательство того, что вещи предназначались мне. Долго ли, коротко ли, но немцы решили вещи ей вернуть. Ее привели на склад отобранных у населения вещей, но ни одной своей вещи она там не нашла. Тогда ей сказали: «Бери, что хочешь». Моя тетечка взяла старое отвратительное черносерого грубого сукна мужское полупальто – «москвичку» – так почему-то его называли – и 2 пуда пшена. Эту уродливую «москвичку» тетя моя носила несколько военных и послевоенных лет, а пшено, пожалуй, спасло нас от гибели, особенно мою сестру.

(Я осталась без теплой одежды, особенно без валенок. Валенки были много лет моей вожаденной мечтой, но первую теплую обувь я надела после 45 лет).

Самым тяжелым для меня в Сталино была разлука с моей дорогой мамочкой. Она осталась в Лисичанске. В течение полутора лет Лисичанск находился на линии фронта и несколько раз переходил из рук в руки.

У нас в зале над комодом висела в маленькой рамке картина Бродского (почтовая открытка) «Ленин в рабочем кабинете». Когда в город входили немцы, мама вставляла в эту рамку другую открытку – девушку с распущенными волосами – вставляла прямо поверх Бродского. Когда приходили наши, она легко вынимала девушку, открывая Ленина, а над парадным крыльцом вывешивала красный флаг. Иногда эти переходы происходили так быстро, что мама не успевала сменить декорации. Однажды она успела вынуть флаг из флагштока, но не успела его спрятать, и он остался стоять на веранде. И Ленина прикрыть не успела. Солдат, который пришел проверять, не прячутся ли в доме красноармейцы или коммунисты (они обязательно обегали все дома), увидел и то, и другое. О Ленине он сказал: «Ленин – карош, Сталин – некарош.» А насчет флага сказал: «Убери, а то офицерен будет пук-пук делать».

Бои становились все более ожесточенными, и немцы выселяли людей из города. Сначала выселяли улицы, которые были ближе к Донцу (по Донцу проходила линия фронта). Многие сразу не уходили, а оседали на верхних улицах, удаленных от реки. (Лисичанск стоит на самой высокой точке Донецкого кряжа, а река течет под горой). Наш дом был высоко и далеко от реки, поэтому он долгое время был набит, как теремок, жителями нижних улиц. Но постепенно все уходило. Дом пустел. Зимой 1942-го умер мой дедушка, мамин отец, – от голода, холода и тоски. Накануне его смерти на его любимой гитаре неожиданно, со стоном, лопнула струна (наверное, было очень холодно). Дедушка сказал: «Вот и за мной смерть пришла». В доме оставалась еще умирающая от голода, холода и вшей старушка – дворянка, брошенная всеми родными, сыном и его семьей. Сына она обожала, боготворила, но он предпочел от нее отречься. Она прожила у нас более 20 лет, но его мы никогда не видели; по ее просьбе мама пыталась найти ее сына в Москве, но он от общения отказался. Я ее помню, как сухую, замкнутую, озлобленную старуху, ненавидевшую весь свет, но более всего детей. (Правда, любила кошек). За ней до последних дней ухаживала соседка из дома напротив, простая женщина: что их свя-

зывало, не знаю. Когда она умерла, в доме остались только мама и ее подруга с четырехлетним сынишкой. Немецкий патруль и русский полицей ежедневно приходили их выселять.

Трудно покидать родное гнездо, зная, что, если и вернешься когда-либо, то на пепелище. Но трудности были не только морального, но и материального порядка. Во время войны появилась такая специфическая категория транспорта – тачки – двухколесная телега, в которую впрягалась женщина (мужчин не было, только больные старики, да и те вымирали). Люди, уходя из домов в неизвестность, старались прихватить с собой хоть какой-то скарб. На тачках везли и детей. Мама несколько раз заказывала тачку, но ее каждый раз воровал сосед. Этот вор был несчастьем нашего дома. Он был невероятно страшен: уродлив от природы, с глубоко посаженными страшными черными глазами. Он был «героем» всех моих страшных снов, детских и не детских. Он непрерывно садился в тюрьму и очень скоро оттуда выходил: ведь «социально-близкий», не политический. Когда мама приходила к нему и указывала на украденные вещи (он их и не прятал), он нагло говорил: «Докажи». С тем мама и уходила. Что могла сделать одинокая молодая женщина против этого матерого волка?! Он обворовывал нас до нитки: снимал урожай на огороде, в саду; уносил почти в тот же день то, что мама получала по карточкам. И так продолжалось до тех пор, пока в доме не появился мужчина. Но в тот момент, о котором идет речь, он воровал самый ходовой товар – тачки. Не знаю, одну или две он успел уворовать, но последнюю мама уберегла. Но и ситуация была уже критической: немцы требовали немедленного освобождения дома.

После очередного категорического предупреждения проследить за выселением (непременным) прислали немолодого немца и, как ни странно, довольно мягкого человека. Пока укладывали скарб, собирали ребенка, короткий день начальной зимы перевалил за половину, и пускаться в путь с тачкой и ребенком в зимнюю ночь было нелепо. Но из дома уйти было необходимо – немец был за это в ответе. И он предложил уйти из этого дома в любой другой пустой дом (а в округе все уже было пусто), там переночевать, а рано утром пуститься в путь. Он сам взялся их устроить. Они сменили 3 дома, но нигде не смогли остановиться: где-то были выбиты окна, где-то безнадежно дымили печи (он сам пытался их растопить) – наверное, были завалены дымоходы. В конечном итоге, поздно вечером, по темноте, он привел их в какой-то дом и поместил на ночь в маленькой комнатке. Но всю ночь никто не сомкнул глаз. Наша авиация всю ночь бомбила город, бомбы рвались очень близко, а где-то совсем рядом всю ночь била зенитка. Когда утром они выбрались из своего убежища, они увидели, что ночевали в помещении зенитного расчета. Их никто не тронул, и они благополучно тронулись в путь. Они шли в Сталино 150 километров все по тем же военным дорогам.

А в Сталино события шли своим чередом. Я очень тосковала по маме. О ней ничего не было известно – связи никакой не было. Но однажды я подслушала разговор: из Лисичанска пришла женщина и сказала, что она видела всех, кто жил в нашем доме и покинул его, но моей мамы среди них не было – значит, она погибла. С тех пор я не расставалась с крошечной маминей фотографией и часто, забравшись за шкаф, стараясь, чтобы никто не слышал, тихо там скулила. Иногда нервы моей несчастной тети не выдерживали (она не переносила слез) и она стегала меня все той же резиной, а потом говорила: «А теперь плачь.» Это было несправедливо, но странно – я никогда не держала на нее зла. Я ее очень любила, считала второй мамой, все ей прощала. Наверное, война по-своему воспитывает детей. Я помню, что ходила в церковь молить Бога, чтобы мамочка моя вдруг оказалась жива. Церковь – это было крошечное помещение, наверное, небольшого магазинчика. Дверь на скошенном углу дома выходила прямо на тротуар. Я переступала порог и оказывалась в лампадном сумраке, где на стенах поблескивали в свете лампад серебро и золото икон. Старушки в платочках гладили меня по голове, приговаривая: «Бедная сиротка».

Тетя моя, конечно, тоже очень страдала, видя мое безутешное горе, мою тоску. Однажды ее осенила мысль познакомить меня с очень хорошей девочкой, внучкой своей приятельницы.

Девочке было 5 лет, но она уже читала, а я, семилетняя балда, читать не умела. Тетя решила, что это знакомство может оказаться не только приятным, но и полезным. И мы пошли в гости. Девочка, действительно, оказалась очень милой, и уходить домой я не хотела. Тетя отчаялась меня уговорить и ушла домой, решив прийти за мной позже. Но прошло немного времени, и она вернулась со словами: «Татьяна, собирайся домой – мать приехала!» – На что я ей ответила: «Вера, если тебе очень надо, чтобы я пошла домой, могла бы придумать что-нибудь другое». Но тетя моя стала рассказывать своей приятельнице, как пришли, как ввалились... Я поняла, что это правда. Едва накинув на себя пальто, без шапки, без шарфа я помчалась домой. Тетя моя, не поспевая за мной, задыхаясь, бежала и кричала: «Татьяна, остановись, попадешь под машину!» – Действительно, надо было перебежать 1-ю Линию – центральную улицу Сталино, и там легко можно было подлететь под мчащийся немецкий «виллис». Но можно ли было об этом думать?! Я влетела в подъезд и, крестясь и приговаривая: «Неужели моя мамочка приехала? Неужели моя мамочка жива?» – понеслась на 4-й этаж. А сверху ко мне бежала, тоже плача, моя мамочка...

Мамочка вымыла меня, одела в сшитое ею из чего-то и вышитое платье, сфотографировала мои красивые длинные кудри и остригла наголо, чтобы избавить от невыводимых во время войны вшей. Вши – необходимые, страшные спутники бедствий. И не только вши: клопы, блохи, мыши, крысы и прочая нечисть.

В моей жизни появились солнце, свет, тепло, радость. Не уходил только голод. Лисичанского дома уже не было, менять было нечего. И мама вынуждена была пойти работать.

В нашем доме этажом ниже жила приятельница моей тети – оперная певица. Театр Оперы и Балета работал, и она устроила маму в театр портнихой в костюмерный цех. (Немцы обнаружили в этом «медвежьем краю», в который они пришли уничтожить дикарей, высокую культуру).

Странно, может быть, вселенскость русского национального характера определяет наш интерес к миру. И на Западе, и на Востоке деловые люди, активные члены общества более всего заняты проблемами своей семьи, своего бизнеса, своего успеха, а интерес к миру – удел профессионалов. Один немецкий солдат, скрипач (!) – не шахтер, не дворник, рассказывал, что, когда их посылали воевать в Россию, им говорили, что Россия – страна медведей и дикарей, захвативших огромные территории. Трудно представить, как человек, получивший музыкальное образование в одной из культурнейших стран Европы и мира, не знает, что почти соседняя с его страной огромная страна имеет не только загадочную страшную Сибирь (это знают почти все), но и великую культуру. Можно, хотя и трудно, не иметь представления о Достоевском, Толстом и Чехове, но не знать Чайковского, Мусоргского. Прокофьева, Рахманинова, Стравинского для музыканта вряд ли простительно. Возможно, ему не пришлось играть русских композиторов (такие были в Германии времена), что уж говорить о писателях.

А в конце 80-х годов прошлого века один наш приятель, будучи в Таиланде, сидя на скамеечке в парке, разговаривал с тайским студентом (!). Когда он сказал, что он из Москвы, студент пожал плечами – он не знал, где это. Тогда наш приятель стал называть ему: СССР, Советский Союз, Россия. Да, студент что-то слышал...

Но вернемся к немцу, скрипачу. Когда он пришел в Россию как завоеватель, он сразу понял, что их обманули, что это страна высокой культуры, а не диких медведей. Это его так потрясло, что он не мог стрелять в противника. Он старался стрелять мимо, пока офицер не заметил это и не пригрозил, что, если он не будет стрелять в русских, он пристрелит его сам. Во всяком случае в Сталино немцы отдавали должное Театру оперы и балета.

Однажды мама повела меня в театр на «Бахчисарайский фонтан». Я понятия не имела о балете. Не знаю, успела ли мне мама что-либо рассказать об этом виде искусства, о сюжете спектакля; знаю только, что она посадила меня в пустую директорскую ложу на спинку кресла и ушла. Мне не довелось в жизни еще раз попасть на «Бахчисарайский фонтан». Я только

в записях видела отдельные сцены в исполнении Улановой и Плисецкой – они и сейчас есть в моей кинотеке. Но тот спектакль я помню весь: все сцены, танцы. Я поняла сюжет. Когда Мария изнывала в мучительной тоске и отчаянии в покоях Гирея, я начала плакать. Когда к этим страданиям присоединились угрожающие страдания Заремы, я начала плакать навзрыд. В какой-то момент я поняла, что что-то произошло. Я оторвала взгляд от сцены и посмотрела в зал. В сумраке зала я увидела десятки, сотни расплывчатых пятен – это были лица немецких солдат (офицеров?) – больше в зале никого не было. Все эти лица, как по команде, были направлены на меня. Я затихла. Действие продолжалось. Я продолжала смотреть на сцену и плакать тихо – мне было не привыкать... Насколько мне помнится, мама не получила в театре выволочки за этот инцидент.

Время шло. Приближался момент нашего избавления. На постое у нас еще очень недолго были два немецких офицера. Но ни они с нами, ни мы с ними не общались: мы для них были «русише швайне».

Моя сестра попала в списки угоняемых в Германию. Мы были в отчаянии. Но помогло несчастье: сестра заболела брюшным тифом. Когда за ней пришли (это было уже совсем незадолго до ухода немцев), моя тетя широко открыла дверь и призывно сказала: «Заходите, заходите, пожалуйста, у нас тут как раз брюшной тиф.» Их смывло от двери, как ураганной волной. Но радоваться было нечему. Сестра лежала без сознания, без лечения, без питания. В таком состоянии она пробыла много суток – сколько точно, не знаю.

Наши подошли к самому Сталино. 3-го сентября 1943 года они вошли в город. Немцы, уходя, Сталино сожгли: сожгли не только стратегические объекты, но и весь центр города, прекрасную центральную улицу – 1-ю Линию, или улицу Артема. Поскольку мы жили в самом центре города (одна сторона нашего прямоугольного двора выходила на улицу Артема), наш двор был почти полностью сожжен. Нас выселили из дома, и мы укрылись под стенами ранее сгоревшего дома, сожженного еще нашими. Дом наш был облит бензином и несколько раз подожжен, но жители не давали пламени распространяться. Он многократно загорался, будучи облит бензином, от искр, летевших от горевших вокруг зданий, но все же был спасен – почти единственный дом во всей округе.

Под сгоревшими стенами собрались все жители нашего многоподъездного дома со всем скарбом, который попытались спасти от огня. Среди всего этого гама, дыма, скопища узлов, чемоданов и мебели лежала без сознания моя бедная сестричка. Мы с мамочкой повезли ее на тачке в более спокойную часть города, не объятую пламенем. Когда мы пересекли ревущую в пламени 1-ю Линию, за нашей спиной рухнула на дорогу, по которой мы минуту назад прошли, огромная трехэтажная рама углового универмага. Горячие стекла с треском разлетелись по всей ширине улицы, но мы остались невредимы. Лилишу мы положили в каком-то полусарае-полудоме на 7-ой Линии. Мама ушла, а я осталась ее сторожить. Когда пожары прекратились, немцы ушли, мы вернулись в свой дом. Маму мою тетя, по праву старшей сестры, отправила в Лисичанск узнать, что с домом. Дом мама нашла абсолютно разрушенным, но там ее увидело местное руководство и заставило организовывать банк. В те времена человек был абсолютно бесправен. В Лисичанске маму теперь ничто не держало, но против своей воли она осталась там и почти навсегда – до пенсии.

А мы снова остались втроем. Сестра моя пришла в сознание, а тетя, наоборот, слегла. Что было с ней, я не знаю. Ей ставили туберкулез, нервное истощение, что-то еще. Во всяком случае, у меня на руках оказалось двое очень тяжелых больных. Мне уже исполнилось 8 лет. Я хорошо читала (тетя обучила меня этой премудрости в 3 дня). Я научилась читать довольно хорошо, почти бегло, но этот форс-мажор на несколько лет отбил у меня охоту читать что-либо, кроме абсолютно необходимого. В школу я еще не ходила. Но мне пришлось вызывать врачей, ходить в столовую за обедами и вести все наше нехитрое хозяйство. В поликлинике я довольно бегло отвечала на любые вопросы и помню, как вокруг меня собирались люди в белых хала-

тах посмотреть на маленькую дрессированную обезьянку. А в столовой мне наливали двойную порцию и часто клали мне в котелок не полагающуюся мне котлету или кусок пирога с капустой. Тетя называла меня кормилицей.

Но этот «праздник» длился недолго. Как остававшихся на оккупированной территории, нас выселили из квартиры, и, вместо центра, мы оказались на самой окраине города, в крайней хате у террикона, с которого начиналась когда-то Юзовка – сегодняшний Донецк. (Тетя моя лет 10 скиталась по частным квартирам, потеряла все свое имущество, прежде чем получила комнату в глубоком подвале. Подвал был тоже коммунальной квартирой. Там жило несколько семей. Но в кухне – это была маленькая бетонная каморка с коммуникационными трубами – там стояли 2 газовых плиты и страшный колченогий стол. В этой каморке (двери в ней не было) жила молодая женщина с маленьким, лет 2-3-х, сынишкой. (Этот мальчик довольно рано стал доктором наук). Хорошую комнату в центре города, рядом с тем домом, в котором жила до войны, тетя получила от института, в котором работала, когда ее внуку шел второй год, через 12 лет после окончания войны.)

А хата, в которую нас выселили, была с земляным полом, маленькими, как бойницы, окошками, низкими потолками, покрытая соломой. Вместе с нами в этой двухкомнатной хате оказалась еще одна женщина с девочкой. Женщина мне казалась старухой, но, наверное, она была молодой: ее девочке было года четыре. Тетя, шатаясь, ушла на какую-то работу. А сестричка моя состояла из кожи и костей, ходить она не могла. Я должна была учить ее ходить. Но, несмотря на то, что Лилюша ничего не весила, поскольку я весила еще меньше, мы часто обе заваливались с ней на стенку, держась за которую шли. В этот страшный момент нас выручило то самое пшено, которое тетя получила в Гестапо в обмен на свои вещи. Мы его ели очень экономно, и, конечно, максимальную порцию получала моя сестричка, но, опустошив тарелку, она начинала плакать: «А мне ничего не дали», – она искренне в этом была уверена...

Меня определили в школу. Это был, наверное, конец октября 1943 года. Учебников у меня не было никаких, но было 2 толстых общих тетради, одна в клеточку, другая в линию, которые мне были подарены в день рождения. И это было бесценное богатство: мне не пришлось, как многим детям, писать на старых газетах и книгах. Но в школу я почти не ходила – не было одежды, не было обуви. Появлялась я там изредка и долго не могла запомнить, где мой класс. В большой многоэтажной школе, полной крика, суеты, бегающих детей, я терялась, и когда после звонка коридоры и вестибюль школы пустели, я, часто плачущая, оставалась в вестибюле одна, и кто-нибудь отводил меня в мой 1-й «б». Наверное, у меня была хорошая память, потому что я быстро освоила прописи, а читала я хорошо, и под Новый год я решила написать письмо маме. Не знаю, как долго, – неделю, месяц – я целые дни разлагала слова на буквы: з-д-р-а-в-с-т-в-у-й д-о-р-о-г-а-я м-а-м-о-ч-к-а... В конечном итоге, 9-го января 1944 года, согласно почтовому штампу, мой треугольничек был в Лисичанске. Письмо на двух сторонах тетрадного листочка, написанное приличным почерком и даже относительно грамотно, – это наша семейная реликвия. (Вряд ли до этого я успела побывать в школе более десятка раз, а учебников или прописей не было в доме никаких и заниматься со мной было некому.). Я писала маме, что я «голая и босая», а потому не хожу в школу, что Вера уходит рано и приходит поздно и что я хочу, чтобы она приехала за мной. Письмо произвело впечатление не только на маму и ее сотрудниц, но и на ее управляющего. Он выписал маме сухой паек и дал три свободных дня, чтобы она привезла дочь.

Не буду писать, как я ждала маму, как мы встретились – оставляю это в своей памяти. Но вот я снова в Лисичанске со своей безумно любимой мамочкой. Лисичанск лежал в руинах, в том числе и наш дом. Город весь зарос бурьяном выше человеческого роста. Бурьян рос даже между камнями мостовой. Город был полон мышей и стреляных гильз всех видов оружия. Нередко встречались и целые патроны, с капсулями и порохом (к счастью, артиллерийские

гильзы обычно были пусты). Жили мы в квартире банковского дома: в двухкомнатной квартире (комната и кухня) жила мамина сотрудница с сыном и мы с мамой.

Мыши были бесстрашны, наглы и вездесущи. Когда мы ложились спать, они начинали бегать по нашей постели (возможно, они приходили к нам греться). Мы прятались под одеяло с головой, мама плотно подтыкала его всюду и начинала мяукать. Смеяться над этим я начала много лет спустя. Кошки были на вес золота. Но не было ни золота, ни кошек.

Сын маминой сотрудницы Юрка был почти на 2 года старше меня. Он учился в первом классе для переростков, учеба которых была прервана оккупацией. Они проходили частично программу 2-го класса. Конечно, я попросила маму, чтобы меня зачислили в этот класс. Меня зачислили условно. Какое-то время уроки арифметики я проводила в тихих слезах: они считали до 100, делили и умножали, решали примеры со скобками, а я понятия не имела о таблице умножения, об умножении и делении. Однажды поздно вечером я сидела в тупом отчаянии над арифметикой и, когда в дом вошла мама, я задала ей один мучивший меня вопрос: почему трижды два шесть, а не пять (я многократно задавала этот вопрос Юрке и получала один и тот же ответ: потому, что шесть; учительнице я, по-видимому, задавать этот вопрос боялась, чтобы меня не перевели из этого класса.) Мама ответила просто: потому что это значит по 2 взять 3 раза. У меня в жизни было несколько таких озарений, которые что-то резко меняли и запоминались навсегда. Это было одно из них. Больше вопросов маме я не задавала. Я быстро сделала задание по арифметике, и год я окончила с похвальной грамотой. Юрка учился плохо, я быстро обошла его в учебе, но во всем остальном я была его верной ученицей.

Печь мы растапливали с порохом и бикфордовым шнуром (мамы наши удивлялись, почему печка все время осыпается: они ее обмазывают, а она осыпается...). С Юркой я примкнула к полубандитской шайке полусиротской шпаны. Я бегала с ними по улицам, лазила по развалинам и крышам, сквернословила, как они, ничем не уступая атаманам.

Мы взрывали все невзорвавшиеся капсулы, делали пугалки, непрерывно играли в войну, жгли в больших кострах росший повсюду бурьян, бросая в них все, что могло трещать и взрываться: патроны, черепицу, обрывки бикфордова шнура. Но чаще всего мы играли в войну с нашими соседками

Рядом с нами жила странная семья: женщина с тремя детьми. Они жили не в доме, а в сарае. Сарай был завален какими-то досками, сломанной мебелью, всякой гадостью. Он был темный, черный, пыльный, грязный. Летом на нас не было иной одежды, кроме трусов (так было года до 1946-47-го). Эти дети были серокожими: лицо, руки, животы были покрыты плотным слоем грязи. (это связано было и с отсутствием воды. Когда был снег, не было проблем. Во все остальное время мы брали воду в Донце. К Донцу нужно было спуститься с 70-метрового кряжа по крутым обрывистым каменистым тропам. Очень часто, когда подмораживало или после дождя было скользко, воду проливали, уже почти поднявшись вверх: поскальзывались на пролитой воде (а может быть, на слезах...))

Стоило только зайти к ним в сарай, ноги становились черными от блох, которые тучами нападали на свежего человека. Белки глаз наших подруг сверкали, как у негров. Мать выглядела так же, как дети, она была в каком-то платье, тоже черно-сером, и, по-моему, она была не совсем здорова рассудком. Малыш, мальчик лет 2-х – 3-х, был летом всегда голым. Наверное, они жили на пособие, которое получали за воевавшего отца.

(Не могу сразу не заметить, что спустя несколько лет после окончания войны я случайно попала в этот уголок Лисичанска и решила навестить моих давних уличных подружек. Я была поражена сияющей чистотой их домика. Добела вымытые полы, чистые половики, накрахмаленные скатерти и покрывала. Чисто одетые девочки. Ни матери, ни мальчика я не видела. Видела отца – маленького, кругленького, улыбчивого и энергичного.)

Девочки, Лора и Жанна, были крошечные. Одна была на год старше меня, другая – на год моложе, но, несмотря на то, что я сама была очень мала, они были еще меньше. Конечно, в наших играх они были всегда немцами, а мы с Юркой русскими, и мы всегда побеждали.

Еще мы ходили с теми же судками, с которыми ходили к Донцу за водой, в столовую, где нам наливали в них баланду: воду, в которой плавала либо капуста, либо перловка. Еще наши мамы получали хлеб: 500 грамм на работающего и 300 грамм – на иждивенца. И в школе на большой перемене нам давали по 50 граммов желтого кукурузного хлеба. Боже, как же ждали мы эту перемену...

Летом мы сменили место жительства. Я рассталась с Юркой, со шпаной и сквернословием, и на ненормальную лексику с тех пор реагирую крайне болезненно, как на мерзость нравственную и языковую ядовитую грязь.

Мы переехали во флигель нашего дома. Дом был полностью разобран людьми: сняты крыша, полы, окна, двери, разобраны оба крыльца. Остались стены с размокшей штукатуркой и обвалившийся потолок. Но мамы сестры и брат не хотели терять родовое гнездо, сложились и прислали маме деньги, чтобы она отремонтировала каморку во флигеле, и мы жили при доме, охраняя то, что осталось. Все это было бессмысленно. Мы никогда не смогли бы отремонтировать дом. Помощь пришла неожиданно. Мама к этому времени была уже заместителем управляющего Промбанка в большом, бурно развивавшемся и восстанавливаемом районе Донбасса. Ни она, ни управляющий никогда ничего не просили устроек, заводов и шахт (этим грешили инспекторы). Может быть, именно поэтому (и по другим причинам) их очень уважали клиенты. И Лисхимпромстрой (теперь это огромный химкомбинат с выросшим вокруг него большим городом Северодонецком) предложил маме восстановить ее дом, но за это на 3 года взять его в аренду. Сделка состоялась, и через 3 года мы уже жили в своем доме. Съеденный под корень конницей Буденного старый сад вырос к этому времени от старых корней – в основном это были абрикосы, вишни и сливы. Огромный куст сирени разросся за годы войны, вопреки всем бедствиям. Через несколько лет двор наш был весь в цветах. В теплые украинские ночи душистый табак благоухал на всю округу. Я и в Москве долгие годы, пока были силы, сажала душистый табак, сначала на балконе, потом на даче, но в наших северных широтах редко случаются теплые ночи, и он пахнет слабо.

Но это все потом. А пока еще 3 года мы жили в другом двухквартирном банковском доме. Весной 1944 года банковцам дали землю под кукурузу и подсолнухи. Трактор прошел по гранитной донецкой солончаковой целине, перевернул пласты (без бороны), и это было нам дано под посевы. Мы с мамой пытались тяпками разбить хоть чуть-чуть этот гранит, чтобы было куда бросить зерно. Но от моих ударов от него не отскакивала даже пыль. Я очень скоро выбивалась из сил, падала на землю и засыпала. Но, наверное, пару десятков жалких початков с этого «огорода» в 44-ом году мы с мамой все-таки съели.

У нас было 2 довольно больших комнаты – одна из них была кухней с маленькой печкой, которая совсем не грела. Дров не было совсем. Уголь представлял собой почти сплошную пыль, поэтому создать жар в этой печке и тепло в доме было практически невозможно. Когда на улице было холодно, в квартире тоже была минусовая температура, вода в ведре замерзала. Я не снимала в доме ни пальто, ни шапку, ноги всегда были ледяные. Школа тоже практически не отапливалась. Чернила в чернильницах часто замерзали. Холод доставал нас повсюду. Ночью мы с мамой раздевались, наваливали поверх одеяла все, что у нас было, укрывались с головой и согревали друг друга. Страдания от холода усугублялись продолжавшимся голодом. У нас в кухне стоял большой полуразбитый бабушкин сундук, который служил нам чем-то вроде кухонного стола. Он был фактически пустой: в нем стояли какие-то пустые банки, лежал какой-то пустой мешок. Иногда я открывала его и, стоя над ним, думала: «Может быть, будет когда-нибудь такое время, когда люди не поверят, что может так быть, что во всем доме нет ни единой крошки съестного».

В этом доме мы встретили Победу. Я помню яркий солнечный майский день. Мы в красных галстуках со всей школой были на митинге на главной площади нашего городка, а вечером банковцы устроили застолье. (Застолье тогда нередко бывало таким: кто-то приносил чекушку водки, кто-то луковицу, кто-то кусочек хлеба, еще соль – вот и застолье.) Что тогда было на столах, не знаю, не помню. Но водка, конечно, была. Стол для взрослых был накрыт в соседней квартире – она была больше нашей. В нашей были дети. Обе квартиры соединял небольшой теплый коридор. Банковцы – это женщины, в основном молодые, потерявшие во время войны женихов и мужей. Мужчин было трое: управляющий, полуслепой старый главбух и калека инженер. Взрослые шумели, пели (во время войны много пели: пели народные, украинские, русские, пели военные, лирические, грустные и победные). Потом вдруг раздавался цокот каблучков: на нашу половину прибегала какая-либо из женщин, бросалась на постель и рыдала в подушку. Отрыдавшись, она вытирала глаза, поправляла одежду, прическу и шла на ту половину, с порога включалась в песню, в общий разговор. Через каждые 15 – 20 минут ситуация повторялась. Все они побывали на нашей половине, может быть, и не по одному разу.

Какое-то облегчение пришло в 1948 году. 1947 год на Украине был голодный, страшный.

Зимой 1947 года я заболела очень тяжелой ангиной. Я лежала одна во всем доме (соседняя квартира в это время пустовала) с температурой 39 – 40 градусов, в бреду, без лекарств, без еды и питья. В комнате было минус 5 градусов. Мама приходила вечером, топила печь в соседней квартире: та печь нагревалась, наша – нет. В одеяле уносила меня в кухню той квартиры, сажала на стол, чем-то кормила и поила горячим. Больничный лист по уходу тогда не давали. Работники в банке были наперечет, со специальным среднетехническим – только управляющий, а с высшим – только моя мама. (Но несмотря на высшее образование и общепризнанную высокую квалификацию, мама со своей анкетой: жена репрессированного, была на оккупированной территории, работала при немцах – никогда не могла занять должность управляющего (управляющий должен был быть обязательно партийным)).

Когда мои ноги превратились в две синебагровых колоды, мама испугалась, осталась дома и вызвала врача. Врач констатировал ревматизм, назначил аспирин и, не дав больше никаких указаний, исчез из моей жизни навсегда. Только уже будучи студенткой старших курсов мединститута, я поняла, что перенесла самую опасную, чреватую самыми опасными осложнениями нодозную форму ревматизма. С такой формой ревматизма лечились стационарно несколько месяцев. Но когда люди не могут или не хотят помочь, спасает Бог. Я выздоровела. Когда мои ноги смогли влезть в бабушкины сапоги (из тонкой кожи на красной шелковой подкладке), без всяких теплых носков, я вышла на улицу: все равно в доме было не теплее. Мне встретилась моя учительница: я училась тогда в 4-ом классе. Она радостно воскликнула: «Танечка, ты уже выздоровела?» Я сказала: «Да» – «Когда ты придешь в школу?» – «Завтра.» И я пошла в школу. (Наверное, я болела долго: у меня по болезни не аттестована целая четверть.) В школе тоже был холод. И голод. Как отличница и слабенькая, я получала на большой перемене блюдечко какой-то затирухи из черной муки с водой. Я на всю жизнь осталась ревматиком, но я не получила тех страшных осложнений, которые мне причитались в той ситуации. Господь хранил меня (не в первый и не в последний раз).

Школа наша, длинное трехэтажное здание, состоявшее почти из одних огромных окон, стояла на большом выбитом плацу. Во время войны, до оккупации, в ней был госпиталь. В школе было холодно и грязно. Менялись директора, но ситуация не менялась. В классах и коридорах голодные дети лужгали семечки. И классы, и коридоры были засыпаны шелухой подсолнечника. Во время уроков устраивались учительско-ученические рейды. Староста класса должен был сказать, кто принес в класс и кто грыз семечки. Это был смешной вопрос: шелуха была под всеми партами. Семечки, как наркотик, от них невозможно оторваться, особенно, когда ты голоден. В те времена я в течение двух, а возможно, и трех лет была старостой

класса. Я, конечно, никого не выдавала: это всегда осуждалось, а для детей войны это определялось, как предательство. Но с тех пор семечек я не ем.

Но и в этих условиях мы оставались детьми, которые радуются солнцу, пушистому снегу, бегают по лужайкам, лазают по деревьям, радуются жизни. У нас не было игрушек, мячей, скакалок, но мы изобретали новые игрушки и игры; играли в прятки, жмурки, казаки-разбойники и мн. др. Мы были детьми природы: мы ели какие-то ягоды, какие-то травы. Самым большим лакомством была акация. Мы ее поедали со страстью в большом количестве. Однажды, уже будучи студенткой, я решила попробовать, действительно ли акация так хороша – я ее мгновенно выплюнула. Но тогда мы были очень оголодавшие.

Зимой у нас не было ни лыж, ни коньков, но саночные приключения были фантастическими. Санки были почти у всех. Во время войны санки, как и тачки, были единственным гужевым транспортом. Лисичанск стоит на вершине кряжа, и все его улицы наклонены к реке, не очень круто, но для санок чувствительно. Примерно за полкилометра от реки начинаются обрывистые склоны кряжа, но там кататься было бы губительно. А по улицам мы могли катиться 1 – 2 километра, разгоняясь до такой скорости, что дух захватывало (машин в городе практически не было). Если мы катались по мощеным улицам – это был восторг от скорости. Мы часто из санок собирали целые поезда – тут уж были на скоростях цирковые трюки. А на боковых улочках были другие восторги – ухабы. Мне никогда не пришлось видеть такого катания, хотя очень хотелось, чтобы мои внуки испытали это удовольствие.

И все же настал день, когда нам улыбнулось школьное счастье: пришел новый директор, который изменил всю нашу школьную жизнь. Очень скоро в школе стало и тепло, и чисто, на окнах появились цветы. Когда он шел по коридору, гордо неся свою красивую голову с черной густой шевелюрой прямых волос, мы им любовались, мы его любили (он преподавал физику в старших классах), как учителя, как директора, как мужчину.

Когда я была в 5-ом классе, мы с учительницей ботаники стали на задах школы поднимать целину (это было почти то же самое, что вскапывать асфальт). Но опытные участки были созданы, разбиты на грядки, каждый ученик (кто хотел) получал небольшую грядку, на которой он выращивал какую-нибудь интересную культуру. Летом во время каникул мы мостили дорожки, сажали аллеи, живые изгороди. (Когда я пришла в школу после окончания 1-го курса института, школа вся утопала в зелени, а перед входом в школу огромная беседка, увитая диким виноградом, утопала в цветах.)

Я сохранила светлое воспоминание о школе. У нас было много хороших учителей – это были учителя, воспитанные на культурных традициях старой России. Я в маленьком шахтерском городке ни разу не слышала, чтобы кто-то из мальчишек ругнулся в стенах школы. Да и на улице я не слышала мата. (Сейчас, когда на улице вижу впереди группу молодых людей, я стараюсь отстать, уйти в сторону, на противоположный тротуар. Иногда по обрывкам одной – двух фраз понимаешь: это идут студенты. Значит, можно идти спокойно: студенты, как правило, не сквернословят. Но страшнее всех сквернословят девушки (раньше такого вообще не было: они кричат на всю улицу, бравируя своей «продвинутой», «крутой» – так это, кажется, у них теперь называется...)

В школе я особенно любила двух преподавательниц русского языка и литературы. Одна была молодая, она была ближе к нам, помогала выпускать школьную газету, часто подсказывала темы вечеров и отдельных номеров. Вторая была уже не молода (ее взрослый сын был известный на всю округу врач), высокая, величественная. Она вела у нас не только литературу, но и психологию, и логику (в 9-10-ом классах). Иногда на вечерах читала нам интересные лекции.

Хамить учителям, панибратствовать, как это нередко можно видеть сейчас, было абсолютно исключено. Мы тоже безобразничали, иногда даже срывали уроки (довольно редко), но это носило обычно характер шалости, шутки, но не грубости или издевательства.

Начиная с 8-го класса, учителя обращались к нам на «Вы». Почти каждую субботу после уроков в школе был вечер – это самодеятельность: пение – хоровое, сольное, шутки – оркестр «ложечников», «расчесочников», художественное чтение, пьесы и обязательно танцы. В субботние вечера мы проходили курсы бальных танцев: мы танцевали краковяк, «На реченьку», польку, па-де-катр, кадрили еще какие-то танцы, но до мазурки мы не дошли. В эти вечера по всему кругу нашего довольно большого актового зала (пионерской комнаты) выстраивались парами почти все старшеклассники. Потом мы танцевали и вальсы, и танго, и фокстроты. Бальные танцы научили нас не стесняться танцевать с мальчиками (обучение у нас было смешанное). У нас был великолепный конференс – это были двое талантливых ребят из старших классов: они оба потом пошли в кинематографию. Номера часто повторялись, но смеха не убавлялось.

Я больше всего любила спектакли, сама их ставила и обязательно в них играла. Однажды мы ставили сцену из пьесы «Юность отцов» (автора не помню). Там у меня был монолог девушки в камере в ночь перед казнью. Я слышала, что в зале хлюпают носами. После спектакля ко мне подошли директор школы, завуч и учительница русского языка и сказали, что я должна идти в театральное училище. (Может быть! Это мне потом говорила и наша руководительница драмкружка в институте, а она была известная артистка. Театр всегда был моей страстью, я его любила и боялась, что уйду за театром, как за цыганским табором... Но часто ходить в театр не приходилось: не было денег, не было времени, не было и сил... – «Нэ судылося Мотри щастя»...)

Летом тех, кто не уехал куда-то отдыхать, часто привлекали к работам на школьном участке или к работам в окрестных колхозах. Я рвалась в колхоз. Начитавшись Бабаевского, Пановой, других певцов колхозного счастья, я, словно пьяного угара нанюхалась, – мечтала посмотреть, что такое новая счастливая жизнь.

В 1950 году, после окончания 7-го класса такое счастье мне выпало: на 10 дней нас, 15 человек, отправили в колхоз. Мне не пришлось побывать в колхозных хатах и дворах, побывать в поле. Нас поселили в колхозном клубе. Это была большая хата под соломенной крышей, без потолка, без окон, без дверей, с глиняным полом. На этот пол нам бросили солому – это был наш дом. Работали в две смены по 12 часов: с 6 утра до 6 вечера, и с 6 вечера до 6 утра. Мальчики предоставили нам право выбрать смену. Мы выбрали ночь – днем было слишком жарко. Мальчики тут же отправились в поле возить хлеб, а мы пошли в наш «дом» спать. Предыдущую ночь мы не спали. Мы приехали в колхоз вечером, никто нас не встречал. Ночь мы провели за околицей села на лужайке. У нас была снедь, которую мы привезли из дома, 4 выношенных солдатских одеяла на 15 человек и 2 крошечных подушечки. Уснуть мы не смогли, всю ночь мы играли, дурачились, пели. А около 6 утра за нами пришли. Теперь перед ночной сменой надо было хоть немного поспать.

Рядом с нашим клубом был колхозный курятник. Смерд, оттуда исходивший, был удушающим, но страшнее этого смрада были мухи. Их были тучи. Они жалили во все места, а укрыться нам было нечем, да и жара была невыносимая. Это была пытка, которой мы подвергались все 10 дней. В полдень нас пригласили в другую избу обедать. Этот обед – одно из потрясений моей жизни, хотя я долго и сурово голодала. Нам подали нечто черное и вонючее: это была гнилая баранья солонина, заправленная черной мукой. Наверное, нечто подобное вызвало бунт на «Потемкине» ... Потрясение было не только от мерзости этой пищи, но и от краха тех иллюзий, с которыми я сюда прибыла. Мы уже все проголодались, но есть это никто не стал. По-моему, ни завтраков, ни ужинов не было – просто мы ели хлеб, тоже черную мякуну, из которой мы лепили чертиков и пульки.

А ночью – новая пытка. Нас поставили веять зерно ручными веялками. Это были уже вторые сутки без сна. Стоя крутишь колесо веялки 50 минут, на 5 минут – отбой. Когда объявляли отбой, я падала прямо в зерно у веялки и отключалась в ту же секунду (так было все-

гда, ибо все 10 дней мы спали очень мало). Проснуться и снова стать к колесу было настоящей пыткой. Так прошло двое суток. На второй день был тот же обед, и мы снова его не ели. На третьи сутки наступил перелом: наши мальчики после своей смены не спали до 6 утра, а в 2—3 часа ночи приходили к нам, иногда даже в 1 час ночи, и мы все вместе быстро выполняли нашу норму. Колхознички обрадовались и хотели, было, увеличить нам норму, но тут мы все встали на дыбы. (Вы думаете, мы шли спать?! – Нет, мы гуляли, играли, пели песни до 6 утра, до ухода мальчишек на работу. А дальше, все сначала...)

Надо сказать, что колхозники к нам, городским, отнеслись не очень доброжелательно, хотя мы были детьми и мы приехали им помогать. Они говорили: «Вот вы, городские, вы живете хорошо, вы не знаете, как живет деревня». – Но мы работали хорошо, и они растаяли. На третий день они нам дали ту же солонину, с душиком, но не откровенно тухлую, и мука была чуть посветлее. На 5-й день нам испекли из свежего зерна изумительно вкусный белый пышный пшеничный хлеб. Это было пиршество. Это был праздник. Последние 2 дня мы ели свежую баранину и даже что-то вкусное. Так я в детстве чуть-чуть соприкоснулась с колхозной жизнью, где-то под Александрией в Донбассе.

Не помню, была ли я в 9-ом или уже в 10-ом классе, когда вышел фильм Ивана Пырьева «Кубанские казаки» – музыкальный фильм-сказка, которая, возможно, была бы осуществима, если бы человечество было другим. Какое изобилие всего: товаров, продуктов, красок, талантов, веселья, любви. Территория, на которой снимался фильм, была оцеплена. Говорят, какая-то старушка, которой удалось подойти достаточно близко, спросила: «Ребята, а о чем сказку снимаете?» – А в действительности, голодная, серая, пьяная деревня вымирала. В ней было крепостное право советского образца для того, чтобы хоть кого-то удержать в этих гиблых условиях на этой гиблой земле.

Говорят, Сталин любил фильм «Кубанские казаки» и много раз смотрел его. Назвать это лицемерием, кощунством, детской любовью к сказке – слишком слабо. Мне почему-то кажется, что-то глубинно родственное есть в этом с той радостью, с какой Нерон смотрел на горящий им подожженный город, на факелы горящих христиан, хотя прямой аналогии здесь нет, кажется даже, – наоборот. Сталин знал, что он сделал с деревней. Но знал ли он, какой она в результате стала? Сомневаюсь. Да вряд ли этот вопрос его волновал. Такой вот сладенький, явно лживый фильм вполне заполнял пустую нишу.

Надо сказать, что это лекарство от действительности он небезуспешно прописывал всем гражданам Советского Союза. На пике террора, когда страна застыла в параличе страха, он заявил: «Жить стало лучше, жить стало веселей!» – и потребовал от всех видов искусств веселых мелодий, веселых сюжетов, веселых картин. И зазвенели радостные песни, бодрые марши, веселые мюзиклы в школах, заводских клубах, на экранах, на сценах, на площадях. Тарелки репродукторов и кинопередвижки проникали в самые глубинные районы нашей необъятной страны. Я не понимала тогда всего этого, и воспитывалась именно на этих патристических, бодрых, мелодичных, красивых и радостных песнях, пионерских, комсомольских, военных, лирических, которые бодрили и крепили веру в будущее. Это была Ложь! Но ложь продуманная, просчитанная. Тогда, когда десятки, сотни тысяч, миллионы лучших людей страны истреблялись в лагерях, расстрельнях, камерах пыток, ссылались в лагеря ГУЛАГа или на поселение в мертвые пески или на вечную мерзлоту; когда позже из-за сталинских просчетов мы на каждого немца клали 8—12 своих мужчин и мальчиков, когда целые армии гибли в «котлах» под Вязьмой, Киевом, Харьковом, в Крыму, мы пели патристические бодрые песни, славили вождя, конницу Буденного и радовались тому, что с «с нами Ворошилов – первый красивый офицер...». Даже в прекрасной военной песне: «Вьется в тесной печурке огонь» – слова «до тебя мне дойти не легко, а до смерти – четыре шага» – петь не полагалось: со сцены эти слова не пели. Битва под Москвой и победа в ней возродила в людях веру в себя, в нашу страну, в наше будущее. Но в этой битве погибли не только сотни тысяч солдат, но и десятки

тысяч москвичей, гражданских людей, в большинстве своем безоружных, они почти завалили своими трупами подходы к Москве. А в кинофильме-мюзикле И. Пырьева «В 6 часов вечера после войны» ополчение уходит (в сущности на гибель) под красивую легкую мелодию, и герои весело поют: «Шагают отряды, идут в бой девчата, и нам, друг, с тобою пора.»

Пырьев – фигура загадочная. Я не думаю, что он был холуй. Он был большой художник. Он не мог не знать, что происходит в стране. Возможно, он верил в «ложь во спасение», а может быть, он верил в ложь, как в правду.

О Сталине, о сталинской эпохе можно говорить бесконечно. Я еще надеюсь что-то об этом сказать. В течение всех 30 лет своего кровавого правления он уничтожал все талантливое, деловое, активное во всех слоях общества, во всех областях общественной деятельности. Перманентный террор то набирал силу, то стихал, то вздымался девятым валом, то оставался, когда возникал кадровый кризис. Он уничтожил почти все, что осталось от старой России – все, что не ушло в эмиграцию. Он уничтожал все яркое, талантливое, что рождала новая Россия. Все это было угрозой его власти. На что он рассчитывал? Думаю, на новые поколения. На поколения радостных, хоть и полуголодных и полураздетых, манкуртов, воспитанных на «его» – Идола – поклонстве. И во все, самые страшные, времена во всех школах, в вестибюлях, пионерских комнатах, актовых залах висели плакаты: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Его портреты были во всех классах, учебных кабинетах – во всех помещениях всех учебных заведений обязательно. Они были повсюду: во всех журналах, газетах, книгах.

И мы так и росли – счастливые манкурты – сироты. Сиротство, вдовство было почти поголовным.

Но была школа, школьный дух, школьные вечера, самодеятельность и... кино! Кино в моей жизни играло очень большую роль: тогда ведь не было телевидения, в городе нашем не было театра и почти не было книг. (Первая книга, которая появилась у нас в доме – был томик стихов и поэм Лермонтова, который в 1946 году мама купила в разрушенном еще Харькове в букинистическом магазине. В следующем году мне были подарены 2 тома Пушкина. В течение нескольких лет это была вся моя библиотека. В школе первые 2 года я училась, не имея ни одного учебника, в 3-ем классе – половину учебников и только в 5-ом классе – полный комплект. Удивительно ли? До 1948 года мы пили чай (кипяток без сахара) из консервных банок, а первые стулья появились у нас в 1953 году – до этого мы пользовались тремя колченогими табуретками. Но Россию бедностью не удивишь, и к бедности ей не привыкать. В России всегда духовные ценности были выше материальных. Может быть, потому, что слишком тяжела была ее история. А может быть, наоборот, потому она и выстояла в ней, что дух был крепок.

Хорошие фильмы мы смотрели по несколько раз, распределяли роли и разыгрывали сюжеты любимых фильмов дома, во дворах, на улице. Сначала шли довоенные и военные фильмы, а потом хлынул блестящий поток трофейных, главным образом голливудских, фильмов. Я до сих пор помню их названия, содержание многих из них. Во-первых, фильмы-оперы и оперетты: «Риголетто», «Флория Тоска», «Богема», «Травиата», «Любительный напиток», «Андалузские ночи», «Строптивая Мариэтта», «Роз-Мари»; прекрасные фильмы «Двойная игра», «Осенние дни», «Большой вальс» – и многие другие, не говоря уж о потрясавших общество «Индийской гробнице» и «Тарзане», хотя для меня они были менее интересны, чем первые.

Когда я была уже в старших классах, в нашем городе появился театр. Репертуар его был небольшой, и я знала его наизусть: в нашем классе училась племянница одной из ведущих актрис театра, с которой мы дружили. На премьеры мы с подружкой ходили по билетам, а потом тайком от родителей, по контромаркам, по много раз. Особенно часто на «Коварство и любовь» Шиллера. Фердинанда играл молодой красавец актер. Но театр продержался у нас всего 2 года,

а потом покинул нас в поисках лучшей доли: после премьеры еще 1—2 раза спектакль шел с аншлагом, а потом при почти пустом зале: театралов в нашем небольшом городке было недостаточно.

Но не все так безоблачно было в моем «счастливым» детстве.

Мой папа был арестован в Москве в мае 1937 года. Он был осужден по 58 статье на 8 лет (тогда это был максимальный срок). В июне 1938 года мы получили от него письмо с Колымы, с прииска Ат-Урях, т.е. он попал в самое адское пекло ГУЛАГа. А осенью 1938 года и маме, и бабушке вернулись посланные ему посылки с надписью «Умер». Ему было 29 лет. И мама, и бабушка стали бегать по всем инстанциям и писать запросы. В какой-то момент, значительно позже, после войны (не помню точно, когда) пришел ответ: «Осужден на 10 лет без права переписки», потом откуда-то снова пришло – «Умер». Бабушка в 1944 году умерла, а мама продолжала слать запросы (в Москву, в Харьков, Луганск (Ворошиловград), в Магадан). Ответов не было. В конце войны и после ее окончания мы с мамой стали ждать папу (8 лет истекли). Я рисовала себе его облик, вглядывалась в мужчин, иногда за кем-то бежала вслепую. Мама в тоске обратилась к гадалке. Та обрисовала маме в деталях картину его возвращения, и мама стала ждать с новой надеждой и верой. (Надо сказать, что во время войны, особенно в конце ее, гаданье стало эпидемией – гадали все и на всем: на горелой бумаге, на билетиках, на картах. Гадали почти все. Но были знаменитые умные и умелые гадалки.)

В 1948 году, через 10 лет после того, как она впервые увидела это страшное слово «умер», мама вышла замуж. Почти через 2 года после этого на один из своих многочисленных запросов мама получила ответ: «Ваш муж получил дополнительно 12 лет и переведен в лагерь особого режима.» Мама тут же решила, что будет добиваться разрешения поехать к нему, где бы он ни находился. Отчим уехал в другой город. Мама спросила меня: «Поедешь со мной?» – «Да», – ответила я без колебаний. Снова пошли запросы: что такое 12 лет – всего 12 или дополнительно к 8; где он, можно ли к нему приехать, как это сделать и т. д. Ответов не было. В конце концов, какой-то из ответов сомнений не оставил: умер. Формулировки его я не знаю. Позже, в 1956-ом, мы получили из Магадана его реабилитацию с сообщением о том, что 8 августа 1938 года он «умер от паралича сердечно-сосудистой деятельности». – Какой диагноз изобрели! В другой бумаге было написано, что он был судим Тройкой УНКВД по Дальстрою. Даты смерти в разных бумагах 7-8-9 августа 1938 года. То-есть, он был расстрелян. Но, если в таких случаях можно говорить о радости, то я рада, что он не дожил до зимы. Все, кто приближался к золотым приискам ГУЛАГа, сходились на том, что самые сильные выдерживали там не более 3-х месяцев (летом). А зимой этот срок для большинства сокращался до месяца. Они умирали страшной мучительной смертью. Этих мук он избежал. Думаю, он унес в свою раннюю могилу тяжкий опыт физических и душевных страданий, опыт раздумий, наблюдений и страшных открытий. Полгода он провел в одной из самых страшных тюрем того страшного времени – в Харьковской. Он писал оттуда маме нежные письма на папиросной бумаге, прятал их в швах белья, которое разрешалось отдавать родственникам в стирку. Но за эти полгода в свои 28 лет он стал совершенно седым. Об этом мы узнали от приятельницы моего дедушки, которой во времена «оттепели» удалось тайно мельком заглянуть в Архиве в его «Дело». После харьковского ада он пережил еще один, может быть, еще более страшный – полугодовой (зимний) этап от Харькова до Колымы. Известно, что на этапах погибало от 30 до 100% узников: на конечные станции прибывали вагоны, во многих из которых были только трупы.

Мой отчим вернулся. Он был инженер-монтажник, объехал весь Союз. Душа любой компании, он знал массу частушек, шуток, прибауток, карточных фокусов, гаданий, умел занять и одурачить всю компанию оптом. Но в тонких вопросах он был не силен.

Прежде всего, он очень ревновал маму ко мне и грубо рвал нашу связь. А связь была крепкая. После того, как я теряла маму во время войны, я очень тяжело переносила всякую, даже короткую разлуку с ней. В первых трех классах я чаще всего делала уроки у мамы в банке,

стоя, на краешке ее стола. У меня это отнимало не более получаса, после чего я бежала на улицу к своим уличным друзьям. Если я была дома, я не ложилась в постель, пока не приходила мама, а она приходила очень поздно, а иногда даже не поздно, а рано (утром). Если я не могла ее дожидаться, я засыпала на сундуке (о котором я уже писала) – все равно во всякое холодное время года в доме я была в пальто. Иногда проснувшись и обнаружив, что мамы дома нет, я натягивала шапку и шла к маме в банк. Времени я не знала, часов ни у кого не было: весь город поднимался по заводскому гудку, который будил всех в 7 часов утра. Я могла идти к ней в 11 часов вечера, в 1—2 часа ночи. Шла почти через весь город, не боялась идти через старое кладбище. Единственно, чего боялась, – волков, и все время смотрела по сторонам, не горит ли где пара зеленых глаз... Если мама продолжала работать (это всегда было во время отчетов — квартальных, полугодовых, годовых, – кроме мамы их никто не мог писать, и писала она их только ночами: днем надо было работать) я ложилась спать на стульях (в банке всегда было гораздо теплее, чем у нас в доме), а в 4—5 часов утра мы шли с мамой домой поспать до гудка.

Однажды мамочка отправила меня в пионерский лагерь. Это было в 1944 году, еще шла война, мне еще не исполнилось девяти лет. «Лагерь» наш был километрах в семи от нашего дома, среди развалин, в разбитом доме, где не было ничего, кроме осыпавшихся кирпичных стен: ни пола, ни крыши, ни окон, ни дверей. (Но в Донбассе лето обычно сухое и теплое). С собой каждый принес что-то похожее на одеяло и подушечку. Но с нами там занимались, а главное – кормили. Нас там было человек 15—20, так мне кажется. Днем мы с пионервожатой сидели под единственным сохранившимся среди развалин большим раскидистым деревом, во что-то играли, пели песни, она нам читала. Наверное, ели там же. А ночью шли в развалины спать. В первую же ночь, когда все уснули, я убежала – не потому, что мне было плохо: я не могла без мамы. Ночь была теплая, черная, звездная. Яркая луна серебрила грунтовую дорогу, по которой я бежала, как полагалось, в одних трусах, босая, прислушиваясь к тому, как шлепали мои ноги по выбитой, твердой, как гранит, дороге. Я прибежала домой около 5 часов утра. Мама, не мешкая, повела меня обратно – ей нужно было успеть на работу. На следующую ночь все повторилось, и снова мама повела меня обратно. Когда я убежала и в третью ночь, мама уже пошла забрать мои вещи и сухой паек.

Через 2 года мама снова отважилась отправить меня в лагерь. Мне уже было почти 11 лет, и лагерь был на расстоянии 18 километров от дома. Я продержалась 2 недели и все-таки сбежала. Больше таких экспериментов не было.

Вот такую связь мой отчим сразу, с первого дня начал рвать кроваво, грубо. У него была еще одна особенность: он читал Сталина и старался ему подражать. Он носил «сталинку», делал «стальные» глаза и во всем был тверд, как сталь. Но меня – девчонку войны, улицы и полной самостоятельности такие фокусы раздражали, иногда смешили, иногда приводили в отчаяние. В общем, все благолепие нашей с мамой жизни вопреки голоду, холоду, разрухе, всей страшной неустроенности нашей жизни для меня рухнуло в одночасье.

Он прожил с мамой более 25 лет, очень изменился за эти годы и со мной, взрослой, он дружил, гордился мной, хвастался, но тогда, в детстве, все было ровно наоборот. И о своих сталинских симпатиях он однажды мне сказал: «Ой, Татьяна, не говори мне ничего, а то получается, что прожил я жизнь дурак-дураком».

Но беда ко мне пришла в ту пору не только дома, но и в школе. Правда, в школе несколько позже. Подробно писать о ней не буду – хочу только в определенном ракурсе посмотреть на эту историю. Когда я училась в 6 классе, к нам пришел новый учитель математики. Ему было около 30 лет, ходил он всегда только в военной форме, был членом партии, очень скоро он стал партгором школы и нашим классным руководителем. И до моего окончания школы он оставался и тем, и другим. Он был маленького роста, рябой, очень некрасивый, чем-то он напоминал мне крокодила, особенно, когда улыбался.

Я любила математику, и скоро стала у него «звездой первой величины». У него вообще была система «звезд» и «пыли». «Звездам» математика была нужна, они соревновались в решении сложных задач, «пыль» должна была довольствоваться списыванием элементарных задач. Мне эта система казалась неприемлемой, глубоко оскорбительной, не только для «пыли», но и для «звезд» (тем более, что это привело к списыванию почти по всем предметам). Я сказала об этом в очень узком кругу учеников (нас было четверо), но ему донесли (и не ученик, а мать одного из четверых). Моя «звезда» мгновенно закатилась. Я оставалась отличницей – с этим он ничего не мог сделать, но до самого окончания школы я сделалась для него предметом изощренных издевательств, сплетен, карикатур в школьных газетах, наговоров, и все это делалось очень грубо. (Я была первой жертвой, но не последней – в каждом последующем выпуске он находил среди лучших учеников желанную новую жертву).

Когда я в 7 классе вступала в комсомол, я, конечно, писала в своей автобиографии о том, что отец осужден по 58-й статье. – «Ах, вот оно что!» – воскликнул он, прочитав это, плотоядно улыбаясь своей крокодильей улыбкой. (Это был 1949 год – разгар холодной войны и новых витков репрессий.)

В комсомол принимало общее комсомольское собрание школы. Потом прием утверждал райком. После того, как я рассказала свою биографию, я помню долгую зловещую тишину в зале, его желтое, застывшее в сдерживаемой улыбке лицо. Но встал наш директор и сказал: «Мы все хорошо знаем Таню и знаем, что она должна быть в комсомоле». – В зале раздался облегченный вздох – голосов против не было.

Не знаю, был ли он здоров психически (думаю, да), но он был, несомненно, человеком с тяжелыми комплексами неполноценности, и это было мое первое, – но, к сожалению, далеко не последнее, – столкновение с этими тяжелыми и небезопасными людьми.

Несмотря на все его ухищрения, я шла на золотую медаль. А этого он допустить не мог. Сколько удивительных фокусов он придумал, чтобы ставить мне двойки и тройки в четвертой четверти 10 класса. Этого я выдержать не могла, пошла к завучу школы и попросила создать комиссию и экзаменовать меня. На что она мне ответила: «Танечка, мы всё знаем, но мы ничего не можем сделать. Через пару месяцев Вы окончите школу. Вы поступите, куда захотите, и забудете об этом, как о страшном сне. А нам оставаться с ним жить...» – (Позже я поняла: он был не только парторгом, но и сотрудником «органов») Это была весна 1953 года. Сталин ушел в преисподнюю. Но свежие ветры повеяли позже.

Конечно, в такой ситуации нужно было сменить школу, но это было невозможно. В нашем городе было всего 2 десятилетки: одна русская, другая – украинская. Кончать десятилетку на украинском языке я не хотела, хотя очень любила украинский язык. Сейчас, когда украинские правители надругались над историей, родством народов, совестью и здравым смыслом, когда проклинают угнетателей-москалей, запрещают русский язык, а следовательно, русскую культуру, родственную, во многом общую, великую и обогащающую, я могу свидетельствовать: я жила в Донбассе, в русско-язычной части Украины. Но у нас было школ украинских почти столько же, сколько русских, хотя говорили все на русском языке, только шутили иногда по-украински и пели украинские песни. В школе у нас было одинаковое количество часов по русскому и украинскому языкам и литературе. А иногда шли русские фильмы, дублированные на украинский язык, что было уродливо, дорого и не нужно ни в одной области Украины.

(И Грузия, любимая Грузия, в которой я никогда не была, но любила ее культуру, ее дух, кровно связанную с Россией, – это тоже кровоточащая рана...)

Медали я не получила. Четверо ребят из двух десятых классов получили Серебряные медали (5 по сочинению была только у меня). Когда я вышла из актового зала после выпускного торжественного собрания, в коридоре, в стороне у окна, стояла группа учителей. Их было 5 человек. Они подозвали меня и тоже сказали: «Танечка, мы всё знаем, но помочь мы тебе

не могли. Ты не расстраивайся. У тебя все впереди, все будет хорошо. Иди смело и не оглядывайся.»

На следующий день я уехала, из дома, из школы, где мне уже нечем было дышать. Уехала в Москву и поступила в медицинский институт.

Я поступила в институт имени Сталина. На выпускном экзамене я писала сочинение о нем, о его бессмертии, ибо бессмертны его дела. До 1956 года мое сочинение стояло за стеклом в кабинете завуча среди лучших работ учеников школы. Я почти одна, – расшевеливать массы трудно, особенно накануне выпускных экзаменов в 10 классе, – сделала фотоальбом, посвященный его жизни и смерти (благо, – материала для этого было в тот момент сверх всякой меры). Такой я покинула Лисичанск. Позади остались трудное детство и ранняя юность: теплые лунные, звездные украинские ночи с запахами цветущей сирени, вишни, душистого табака, украинские песни, бесконечная подготовка к экзаменам (с 4-го класса по 10-й мы сдавали каждый год экзамены практически по всем предметам) под жужжанье пчел и запах роз в нашем саду, когда знания смешивались с мечтами... Я ехала навстречу мечтам.

Переступив порог школы, я как будто перешла некий Рубикон. В Москву я уже приехала другая. Приехала – и стала задавать вопросы.

Об институте много писать не хочется. Я попала в медицинский институт случайно: провинциальная девочка, у которой не было возможности посещать дни открытых дверей вузов, некому было задать волновавшие вопросы, я пришла в медицинский институт с бредовыми идеями: мне хотелось изучать биохимические механизмы мозга, которые обеспечивают четкие законы логики и психологии – они изумляли меня своей строгостью и красотой. В МГУ ни на мехмате, ни на физфаке, ни на биолого-почвенном факультете (от одного слова «почвенный» меня бросало в дрожь – это были времена Лысенко), мне казалось, я не найду того, что ищу. Медицинский институт изучает человека – там это возможно. С первых же занятий в институте я поняла, что попала не туда. Но уйти из института неизвестно куда, напрямч маму и всю мою родню я не решилась и осталась в институте. Я вспоминаю о нем без восторга. Многие предметы читались серо, блекло, бесполезно. Биологию у нас читала возлюбленная и яростная поклонница Трофима Денисовича Лысенко... (Четыре факультативных лекции по генетике я прослушала только в конце 6-го курса – это был 1960 год!). У нас было обязательное посещение лекций, и я была в числе яростных поборников свободного посещения. На хороших лекциях аудитории были переполнены. На лекциях по патологической анатомии Академика Ипполита Васильевича Давыдовского студенты сидели на окнах, на ступенях – только не висели на люстре. На пустых лекциях, в записи которых мы никогда не заглядывали (все равно, надо было читать учебники, а после них лекции были бесполезны) – на таких лекциях аудитории выглядели подозрительно пустоватыми. На них мы готовились к занятиям, читали, играли в крестики-нолики или просто убегали в кино или буфет. Когда в ближайшем клубе шел новый хороший фильм, это весьма заметно сказывалось на заполненности аудитории, и у нас ввели проверку посещаемости лекций. В перерыве произвольно из 20 групп потока выбирались 4 для переключки. Старосты должны были мгновенно сориентироваться, кого из других групп поставить вместо отсутствующих своих: лекторы весь поток не знали в лицо, хотя, в качестве исключения, можно было нарваться на неприятности. А вот на экзаменах у экзаменаторов были списки посещаемости лекций, и это могло серьезно сказаться на отметке (а следовательно, на стипендии), независимо от содержательности ответа.

В одной из институтских стенгазет было такое стихотворение:

Староста – это один в поле воин,
Староста вечно обеспокоен:
Как сделать из двух человек десять,
Иначе группа его повесит,

Или как превратить стулья в студентов,
Если последних лишь двадцать процентов.
Слушайте, люди, жалеите старост,
К ним рано приходят болезни и старость.

В клиниках института все же еще оставался, наверное, дух земства, бескорыстия и благородства, гуманного отношения к человеку. Тогда не было сегодняшней техники, высоких технологий, огромных возможностей и огромных денег, которые теперь правят (явно и тайно) бал в нашей медицине. Там, в клиниках, я видела людей большого таланта и высоких моральных качеств: жизнь на своей суровой наковальне одних уродовала, других закаляла, создавала и «серых», и черных, и удивительно светлых.

Вот 2 эпизода из моих встреч, которые хотелось бы описать.

Гистологию у нас преподавала очень красивая, но скромная женщина, еврейка, имени-отчества ее я не помню, с сединой в прекрасных густых кудрявых волосах. Несколько лет спустя после окончания курса гистологии, когда в институтской газете, посвященной Дню Победы, прочла ее историю, поняла, что ей не было 35 лет. Выглядела она лет на 10 старше. С газетного портрета смотрела с улыбкой красивая девочка в солдатской ушанке с длинными толстыми косами. Из школы она ушла на фронт медсестрой. Попала в окружение, под массовый расстрел. Была недострелена, только ранена. Выползла из-под трупов из рва, стала пробираться к партизанам. Ее поймали, погрузили в поезд. Ее ждал Освенцим. Но она бежала. Первая попытка не удалась, со второй ей все-таки удалось спрыгнуть с поезда на ходу. В нее стреляли, но не попали. Она добралась до партизан и войну прошла в отряде.

А когда мы сидели у нее на занятиях, учили-не учили ее интересный предмет, дурили, отвечали хорошо или плохо, нам в голову не приходило, что за плечами у этой женщины такой жизненный опыт.

Вот еще одна незабываемая встреча. После 4-го курса (1957 год) у нас была врачебная практика. Мы проходили ее в районной больнице Калининской области (ныне снова Тверской губернии). В хирургическом отделении 1 врач, 2 медсестры, 2 нянечки – весь персонал. Все районные аппендициты, грыжи, травмы поступают сюда. На полостные операции отправляют в областной центр. Электричество в больнице от движка – до 10 часов вечера. А больные чаще всего поступают ночью. Плановых операций мало, обычно – срочные. Хирург – женщина, Р.В., ей 31 год. После 9-го класса ушла на фронт медсестрой. Ленинградка. На фронте потеряла жениха. Вернувшись с войны, поступила в медицинский институт, по окончании отправлена по распределению в эту больницу. Не помню, на сколько коек было отделение, но не маленькое – несколько палат (в палатах от 6 до 12 человек, и дети, и старики). Когда она шла по отделению, казалось, идет тепло и улыбка. Каждому она находила доброе слово, шутку, ласку, утешение. Ночью она оперировала при керосиновой лампе, – ее, освещающая операционное поле, держала нянечка Нюра, которая еще при необходимости подавала хирургические инструменты: «Нюрочка, лампу сюда... чуть выше... Нюрочка, корнцанг» – ...и т.д.). Сестра ассистировала. Обстановка вполне «романтическая». Но никогда Р.В. не повысила голос, не вышла из равновесия, из доброжелательного состояния.

Только это позволяло ей успешно работать. Я не помню послеоперационных осложнений. Ее любили. Наверное, это скрашивало ее одиночество. Вряд ли в этой глуши она надеялась устроить свою личную жизнь.

Таких людей в тот период было много в нашей жизни. Но она врезалась мне в память, как солнце, которое в северном суровом неустроенном краю согревало, светило всем. Я в те времена, маленькая, худая, моложавая, выглядевшая совсем девчонкой, со своими студенческими знаниями, считала себя не в праве лечить людей. Она заставила меня оперировать (она мне

ассистировала), заставила вести поликлинический прием – сломала во мне угнетавший меня внутренний барьер, с которым самой мне было бы справиться очень нелегко.

Светлое пятно моих институтских лет – наш драмкружок, который вела Елена Павловна Кононенко, впоследствии Заслуженная артистка РСФСР, прекрасная актриса, замечательный педагог и человек. Мы занимались по вечерам в классах, в которых днем шли занятия. Комнаты еще не были убраны, и мы стелили на пол газеты, потому что, когда Е.П. давала нам «краски», мы часто от смеха валились на пол (она была прекрасная комедийная актриса) и долго не могли прийти в себя. «Если вы будете так смеяться, – говорила Е.П., – вы провалите спектакль.» – Сцены из пьесы А. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» мы, действительно, чуть не провалили. Но, к счастью, все обошлось. Она как-то сказала: «Если бы вы знали, какое счастье играть такой текст. А что нам иногда приходится играть...»

Институт отнимал много времени и сил, но душа моя была вне его. Я попыталась найти себя в различных научных кружках, но стиль и уровень их работ меня привлечь не мог. Я всегда рвалась в теорию, в скрытые механизмы, а не внешние проявления, а теоретические предметы были намного слабее клинических.

Меня гораздо больше привлекал стол в довольно большой по тем временам комнате моего деда на Солянке под большим старинным абажуром, где по вечерам за чаем с какими-нибудь сушками, соломкой и вареньем велись весьма интересовавшие меня беседы.

(Россия – страна вечно не решенных проблем: их не хотело, не умело, не осмеливалось решать правительство, но ими «болела» интеллигенция и, не имея трибуны, прав и возможностей для их решения, вечно обсуждала их за чаем (и за рюмкой) в гостиных, клубах, дружеских беседах. Наверное, и во времена сталинского террора это продолжало существовать в придушенном, глубоко подпольном варианте. И малейшее ослабление репрессий активизировало, возвращало к жизни это особое российское явление.

Я приехала в Москву сразу после смерти Сталина. Настало время кремлевских переворотов, потом 20-й Съезд, начало «оттепели». Но сталинские секретные службы продолжали работать. В каждой квартире, в каждой самостоятельной производственной, научной, партийной и прочих ячейках несли свою службу «сексоты». Все это знали. Мы знали и сексотку нашей коммунальной квартиры. Это была почти безграмотная тетка, работавшая в разных организациях то уборщицей, то разносчицей. Ничего осмысленного она в свои высшие инстанции передать не могла, но нагадить могла изрядно, даже без причины. Она была настолько глупа, что иногда откровенно запугивала нас. В квартире из 5 комнат было две друживших семьи интеллигентов. Мы каждый вечер проводили вместе, и каждый вечер она торчала у нас под дверью. У одной из наших соседок, Елены, тогда модой женщины, был очень острый слух, и она часто слышала, как наша доброжелательница в своих мягких тапках подкрадывается к нашей двери. Среди беседы Лена вдруг внезапно срывалась с места, бесшумно подбегала к двери и резко ее открывала. Так наша «секретная» дама заработала несколько шишек на лбу, но жалобы вряд ли пошли бы ей на пользу, и работу бросить было невозможно. Но потом ее все-таки разжаловали и завербовали другую соседку, продавщицу. Мы об этом узнали, потому что вербовка прошла не очень аккуратно. Продавщица была умней: она обычно вертелась в нужные моменты под дверями, делая вид, что подметает пол. Но однажды произошел такой казус. У наших соседей (друзей) на дне рождения моего друга собралась большая и «сомнительная» компания: некоторые потом сидели и (или) были высланы из страны. Оставить без внимания такое собрание власти не могли. Сексотка была «под ружьем»: она стояла под дверью в длинном коридоре большой коммунальной квартиры. В коридоре было темно: лампочка перегорела, но никто не торопился вернуть новую: коммуналка все же... Против двери на тумбочке стоял телефон с громким звонком, чтобы всем было слышно. «Сотрудница» напряженно слушала. Было, что слушать, но понять было трудно, тем более запомнить. Внезапно раздался резкий телефонный

звонок. От напряжения и неожиданности она закричала. Все вскочили из-за стола и бросились в коридор. Она позорно бежала, бросив щетку...

Но вернемся к столу под абажуром. Тогда там собирались разные люди, но самыми дорогими для меня были мой дедушка и мой кумир (наш сосед по квартире), которого я полюбила, когда он был еще мальчиком 13 лет (мне было 11), однажды и на всю жизнь. (Моим мужем он стал, когда мне было 48, а ему 50, он был уже очень болен, и в 64 года он умер, но все равно все, что было с ним связано, – это счастье моей жизни). Во времена бесед под абажуром он был студентом, потом аспирантом мехмата МГУ.

Мой дедушка в свое время был довольно известным юристом. В Харькове (когда Харьков был столицей Украины) он был одно время председателем губернского суда, в Москве в 30-е годы попал в Прокуратуру Союза, но, к счастью, был изгнан оттуда после ареста сына. Несколько лет он каждую ночь ждал ареста, необходимый узелок был всегда наготове, но его, по-видимому, потеряли в суматохе мясорубки, как и нас с мамой. Я не могу и не смею давать ему характеристику. Для меня он был человек любимый и очень меня любивший (я была то единственное, что осталось от его единственного обожаемого и так трагически погибшего сына). Для меня он был очень интересным человеком, много знавшим и пережившим.

Он начинал с Бунда, потом был меньшевиком. В 1905 году, спасаясь от суда, бежал в Германию. Когда через несколько лет вернулся в Россию, на границе расцеловал жандарма: «И дым отечества...». В 1919 году стал большевиком. Мне он сказал: «Я поверил в «Апрельские тезисы» Ленина.» – Он люто ненавидел Сталина, но Ленин до конца его дней оставался для него авторитетом.

Ему я, приехав в Москву, стала задавать вопросы, которые накопились у меня уже в школе.

Первые вопросы касались роли Троцкого в революции, взаимоотношений Ленина и Троцкого, Сталина и Троцкого. Школьный учебник что-то недосказывал, лгал, а я привыкла верить.

От дедушки я узнала многое о Троцком, дискуссии, взаимоотношениях Сталина и Троцкого, «троцкизме», 58-й статье, Великом терроре. Это были первые штрихи к портрету эпохи – опыт относительно небольшого круга людей. Все узнавалось постепенно, по каплям. Когда он рассказывал мне о 1937-ом годе, моя бабушка (не родная) все время шикала, без надобности выбегала в коридор и в кухню посмотреть, не подслушивают ли наши сексоты.

(С моей родной бабушкой дедушка разошелся много лет назад, когда мой папа был еще мальчиком. Она умерла в 1944 году. У нее был рак, лечиться она не хотела. «Моего сына убили – мне незачем жить» – сказала она). Я дружила со своей неродной бабушкой. В свое время, так же, как и дедушка, она ждала ареста: она была близким сотрудником Скрыпника в Минюсте Украины.

Дедушка иногда тоже, вдруг схватившись за голову, бегал вокруг стола со словами: «Что я делаю?! Что я делаю?! – Я погубил одного, погублю и ее.» – Но я задавала вопросы, и он отвечал.

У него была приятельница, которая не могла запереть и отпереть ключом дверь... В 1937-ом арестовали ее мужа. Вскоре пришли за ней. У нее было двое маленьких детей – 2-х и 4-х лет. Дети спали. Она попросила разрешить ей отнести детей к соседям. Ей сказали: «Не будите детей. Вам зададут несколько вопросов, и Вы вернетесь домой, дети еще будут спать.» Когда она запирала ключом дверь, ей казалось, что она поворачивает ключ в сердце. Она вернулась через 19 лет. Она никогда больше не видела своих детей и ничего не смогла узнать об их судьбе.

У нас была интересная соседка. Ее отец был известным общественным деятелем, переписывался с Лениным (эти письма вошли в собрание сочинений Ленина). В 1936-ом или 37 году его арестовали. Ей тогда было 15 лет. Когда пришли за матерью, она уже знала, что это значит.

Она мертвой хваткой вцепилась в мать и стала кричать: «Не отдам!». Ее с трудом оторвали от матери и с силой швырнули на пол. Ее разбил паралич. Мать увели. Родителей своих она больше никогда не видела. Я знала ее, когда ей было 30—37 лет, но выглядела она старухой. Одна рука у нее не работала, ногу она волочила, у нее был рассудок 15-летней девочки.

Бывала часто у нас жена дедушкиного друга, Ц.С.. Муж ее был генералом. Одно время он был главнокомандующим Западно-сибирского военного округа. В 1937-ом он стал членом Верховного Трибунала. Дедушка рассказывал мне, что он приходил к нему, бегал по комнате (комната была большая – 33 квадратных метра), схватившись за голову: «Ты не понимаешь, не представляешь, – говорил он, – что происходит. Мы каждый день подписываем смертные приговоры лучшим нашим людям. Подписываю и я. Я хотел бы выйти на площадь и крикнуть людям, какое творится зло. Но я не только не успею крикнуть – я не успею выйти. Но соль не в этом. Мне жизнь не мила. Я так жить не могу. Но моя жена, мой сын – отвечать будут они. Нас повязали их жизнями. Они погибли в муках. За что? Почему?» – Он не выдержал этих мучений. Его разбил паралич. Через полгода он умер. Ему был 51 год. Сын его после 9-го класса ушел на фронт, погиб в конце войны. Его вдова много лет спустя, не выдержав одиночества, когда жизнь для нее окончательно потеряла смысл, приняла смертельную дозу снотворного.

У дедушки с бабушкой был своего рода клуб. Их эрудиция, гостеприимство и большая комната (что было в те времена немаловажно) привлекали людей к беседе, к общению. Во времена особого разгула террора люди рвали все связи. В дом, из которого уже кого-то взяли, никто не ходил. Наоборот, уничтожали следы прежних связей с «прокаженными», рвали письма, фотографии, подарки с надписями, вычеркивали номера телефонов. Никто не знал, кто окажется прокаженным завтра. Поэтому правильнее было тихо сидеть в собственных четырех стенах. И это не подлость всеобщая. Это был всеобщий страх – реальный, ежедневно подкрепляемый новыми арестами, воем газет и радио, потерями родных, близких, друзей, опечатанными квартирами и служебными кабинетами, темными окнами домов, замкнутостью, подозрительностью; слезами и горем, которые глубоко прятали.

Узнала я и об отце. Он был человек очень яркий: у него был острый ум, красивая внешность. Он прекрасно пел и очень красиво говорил. Когда он выступал на собраниях, его часто выносили на руках. Он участвовал в студенческих дискуссиях 1927 года. Он кончал 3-й курс факультета внешних сношений Харьковского института народного хозяйства. Мама кончала финансово-экономический факультет того же института. Почему, не знаю, но в разгар дискуссии он из нее вышел.

Здесь мне хочется немного рассказать о нем. По-видимому, он был человек азартный, страстный. Он прекрасно играл в футбол, и однажды футбольным мячом ему свернули нос набок: нос выпрямили, и, кто об этом не знал, мог ничего не заметить; но, кто знал, видел, что нос немного асимметричен. Он любил хоккей, самозабвенно играл, и ему клюшкой выбили передний зуб. Тоже пришлось чинить. Он очень много и быстро читал. Ему давали частные уроки известные профессора русской и зарубежной литературы. Список рекомендованной русской литературы, который он составил, по ее просьбе, моей двоюродной сестре, до сих пор поражает меня подбором литературы, объемом, подробностью, его удивительной памятью: он написал его ночью в Лисичанске, далеко от источников, которые могли бы ему в этом помочь.

В 15 лет он пошел на завод и получил профессию слесаря: для него не было неоткрываемых замков. У него был абсолютный слух и красивый мягкий баритон. Он прекрасно пел арии из опер и украинские народные песни.

Одно время, очень недолго, дед мой был комиссаром в Красной армии и возил девятилетнего сына с собой. Мальчик знал все, что происходило на фронтах, и часто красноармейцы утаскивали его, чтобы он прочел им лекцию о положении дел на фронтах: он чертил на карте расположение армий, стрелками определял места предполагаемых боев и наступлений. Рево-

люцию он впитал в себя с детства. Однако, думаю, он не случайно вышел из дискуссии: что-то в нем сломалось. Наверное, он увидел, что революция повернула не туда... Он не посвящал маму в свои раздумья. Мама была активной пионеркой, убежденной комсомолкой. Он надеялся, что, если ему придется отвечать, ее непричастность спасет ее (а потом и меня). Кто же мог тогда даже подумать, что между виной и наказанием не будет никакой взаимосвязи и взаимозависимости (что для наказания никакая вина не будет нужна).

После окончания дискуссии, тем не менее, папу арестовали и исключили из института. Ему было 19 лет. Из тюрьмы его выпустили через 3 месяца, но в институте не восстановили. Он окончил его экстерном, для себя, без диплома. Сдать экзамены тоже не разрешили. Потом он был в армии, на долгих сборах. Потом вернулся в Харьков, но места себе, видимо, не находил. Со слов моей тетушки, я поняла, что он переживал какой-то глубокий внутренний кризис. Наверное, поэтому мои родители в начале 1936 года покинули любимый Харьков и уехали на Урал. Работали оба в экономическом отделе Нижнетагильского уралвагонзавода. Папа заведовал каким-то сектором, мама была секретарем комсомольской организации завода, должна была стать кандидатом в партию. В феврале 1937 года папе припомнили дискуссию и уволили с завода. Все знали, что это предарест. Маму сняли с поста секретаря комсомольской организации и исключили из комсомола. На собрании, когда ее исключали, она улыбалась: ее поносили самыми последними, лживыми, злобными, мерзкими словами (как было принято в те времена) те самые люди, которые совсем недавно превозносили ее, пели ей дифирамбы, рекомендуя в кандидаты партии (в подлые времена всегда есть «запевалы», которые с одинаковым подлым усердием поют и за здоровье, и за упокой).

Рыдать она начала, когда вернулась в свой отдел. Она так рыдала, что старенький служащий отдела подошел, положил ей руки на плечи и сказал: «Елена Петровна, не надо так плакать, Вы сорвете легкие. Так плачут только по очень близким и дорогим людям». (В те времена это были опасные слова: какие еще близкие люди могут быть дороже партии и комсомола?!)

Папа уехал в Москву и в мае 1937 года был арестован и переправлен в Харьковскую тюрьму. Мама уволилась с завода и вернулась в Харьков, чтобы быть поближе к папе. Из тюрьмы мама получала от него письма, написанные его убористым куриным почерком (эти письма могла прочесть только она одна) на листочках тончайшей папиросной бумаги, спрятанных в швы грязного белья, которое разрешалось отдавать родным в стирку. Конечно, ни о чем действительно страшном, что переживали узники этого палаческого заведения, он ей не писал. Это были весточки, связь, вопросы и кое-какие просьбы. (Известно, что в это время Харьковская тюрьма была одной из самых переполненных и страшных.)

Устроиться на работу мама не могла. В Харькове маму знали. Несколько лет после окончания института она работала там в банке. И когда она приходила устраиваться на работу, ее встречали там с распростертыми объятиями (надо полагать, в те времена специалистов с высшим образованием лишних не было), но как только читали в анкете: «муж репрессирован», – отводили глаза, предлагали прийти через несколько дней, после чего следовал отказ.

В декабре 1937 года папу увозили из Харькова на Колыму. Их увозили в день первых выборов (наверное, в Верховный Совет СССР) по новой Сталинской Конституции. Весь Харьков был увешан транспарантами, славившими Выборы, новую конституцию и, главное, – ее Творца. Всюду были его портреты, всех размеров и видов.

На вокзале стояли параллельно два длинных состава товарных вагонов, обращенных зарешеченными окнами внутрь, друг к другу. Вдоль состава бегали охранники с собаками, не подпуская никого к вагонам. Был отвратительно холодный, серый ветреный морозный бесснежный декабрьский день. Люди коченели на ветру: от холода, стояния, горя, безнадежности и бессилия. Любое их движение злило и собак, и охранников. Моя бесстрашная мамочка не преминула сказать им: «Вы хуже своих собак».

Когда стемнело (декабрьский день короток), ближний состав ушел, и оконца второго оказались доступными. Игнорируя собак и охранников, люди стали бегать вдоль состава и выкрикивать имена дорогих узников. Когда мама выкрикивала фамилию папы, из окошка ее спросили: «Какой Борщевский, молодой или старый?» – «Молодой.» – «Его привезут позже.» В одном из окошек ей выкрикнули адрес, по которому просили съездить и предупредить, что узника увезли.

Когда совсем стемнело, к составу подъехали два «воронка». из которых осужденных быстро перевели в вагоны. «Воронки» стояли далеко. Увидеть, кого привезли, было невозможно: тут уж не подпускали... Когда и второй состав тоже ушел, мама поехала по указанному адресу. Ехала долго на трамвае на какую-то окраину. Всюду гремела музыка и песни, прославляющие прекрасную жизнь, сверкала праздничная иллюминация, гулял народ, а мама ехала и плакала злыми бессильными слезами.

Ей открыли двое пожилых людей, потом подбежала молодая растрепанная женщина в черном, по-видимому, потерявшая рассудок. Ее увели. Маму поблагодарили, и она уехала. Обратный путь, после увиденного, был еще тяжелее...

С дороги на Колыму мама получила от папы два письма, которые он выбрасывал из окон вагона, а добрые люди их подбирали и отправляли, хотя за это можно было угодить туда же (фактически, поплатиться жизнью). В этих письмах он писал, что есть «неудобства» от тесного соседства с уголовниками. И еще, что в тюрьме «хотели», чтобы он что-то «подписал», но он не подписал... Написано было так аккуратно, что моя легковверная мамочка не заподозрила, что за этим стояло...

Прометавшись безрезультатно в поисках работы в Харькове полгода, мама покинула любимый город своей юности, своей любви и вернулась к родителям в Лисичанск. (В Лисичанске история повторилась. Промаявшись еще несколько месяцев без работы, мама решила скрыть зловещий факт. Работу она получила мгновенно. А когда Великий и Мудрый изрек: «Сын за отца не отвечает» (в стране назрела кадровая катастрофа) – мама призналась в своем «преступлении» ... О дальнейшем я уже писала раньше.

В Москве и то, что я знала раньше, и то, что постепенно узнавала от бабушки и его окружения, меняло мое отношение к нашей частной трагедии. Она была встроена в страшную трагедию огромной страны. И я хотела о ней знать, узнавать как можно больше, понять, осмыслить ее.

20-й Съезд партии открыл первые цифры и некоторые сокрытые факты. Началась короткая «оттепель». Стало возможным (правда, недолго) говорить о трагедии, о терроре, о Сталине – не как об Отце народов, а как о его Палаче. (Последнее, правда, и тогда, и по сей день мало кому понятно – я еще не раз вернусь к этому).

Вернулась из ссылки моя тетушка, вернее, папина тетушка, родная сестра моей бабушки. В лагерях и ссылках она провела в общей сложности более 19 лет. Она тоже имела, что порассказать (а я – послушать). В 17 лет она была делегатом Первого съезда советов (после Октябрьского переворота) от Балтфлота. Много позже она была директором сельскохозяйственного института, кандидатом наук (тогда, в те годы, в те времена это было не то, что теперь). Она входила в состав сельскохозяйственной Коллегии Николая Вавилова. В ее состав входило 40 человек. В числе арестованных она была 38-й по счету. Ее обвиняли в том, что она должна была убить Молотова. Несмотря на пытки, она его не подписала. Ее судила Тройка. Ей грозил расстрел. Удивительно, но в те несколько минут, которые отводились на рассмотрение Тройкой подобных дел и вынесение приговоров, она сумела привести неопровержимые доводы, опровергающие страшное обвинение. Как ни странно, но вместо расстрела она получила 10 лет лагерей, откуда она, отбыв свой срок, вернулась в 1948 году. Но тогда, когда из ГУЛАГа стала возвращаться выжившая «58-я», Сталин заявил: «Они не были нашими врагами – они стали нашими врагами», – и все, успевшие вырваться из ГУЛАГа, вновь были отправлены туда или

в ссылку, а не успевшие получили новые сроки или просто, без объяснения причин, оставлены в лагерях.

Вернулся папин двоюродный брат, он тоже провел там 20 лет. Но выйдя из самолета на московском аэродроме и увидев своих жену и сестер, упал и умер, как раньше говорили, от «разрыва сердца».

После этой смерти я вспомнила, что я уже встречалась с подобным. Когда я училась в старших классах, – это было начало 50-х годов, – у нас в гостях иногда бывал инженер очень крупного завода: невысокий старик с гордо посаженной головой, орлиным носом и абсолютно белыми, довольно длинными, по тем временам, волосами. Я знала, что он вернулся из лагерей, что репрессирован был, как «враг народа» – метростроевец-«диверсант». В Москву он возвратиться не мог, а может быть, было и не к кому: жены у него не было, – отреклась ли она или погибла в лагерях, – но жил он один в поселке при строительстве большого, союзного значения, завода. Наверное, на этом строительстве он работал так же «плохо», как и на строительстве метрополитена, и завод добился восстановления его в партии. Когда в райкоме ему вручали партбилет, он упал и умер...

Нет, это не слабаки, не неврастеники. Просто у них за плечами неподъемное – то, что не поддается воображению: не голод, не холод, не физические, а нравственные испытания, унижения, которым их, невиновных (по крайней мере, в том, в чем их обвиняли) подвергали подонки, палачи, нелюди. Поэтому и умирали они, выдержав пытки и кошмар лагерей, на воле, когда им говорили: невиновен...

Тетя выжила в лагере потому, что как высококвалифицированный экономист она оказалась востребованной в лагерном хозяйстве. Но, неумный и бесстрашный человек, она начала вести борьбу с уголовниками, которые заняли в лагере все теплые и хлебные места и нагло обворовывали и притесняли политических по всем статьям. Уголовники тоже не сидели сложа руки: они написали на нее ложный донос, и ее отправили на лесоповал. Там она очень скоро стала «доходягой», так как физически не была в состоянии выполнять норму, а невыполнение – это пайка кандидата в покойники. Её спасло то, что один из начальников увидел ее и спросил, почему она на общих работах. Когда ему объяснили, он произнес сакраментальную фразу: «Они что, с ума сошли?! „58-я“ – это самый честный народ!», – и она была, не успев умереть, возвращена в свою контору.

Тетя, по возвращении, была для меня, для нас не только живым носителем информации о ГУЛАГе, но через некоторое время стала прямой связью с «Самиздатом». Она получила комнату в новом районе и небольшую пенсию. Из этой пенсии она значительную сумму (по масштабам ее пенсии), одну треть, отдавала своей приятельнице, с которой познакомилась в лагере. Приятельница была медсестрой. Когда ее арестовали, после ареста мужа, сына их взяли родственники. Она не надеялась вернуться из лагеря и написала сыну, что ему будет легче жить, если он от нее отречется. (Тогда было «модно» отрекаться от родителей). Сын отрекся. Но она вернулась. Сын к этому времени был уже доктором наук: по советским меркам он имел приличный заработок, а мать, как бывшая медсестра, получала грошовую пенсию, на которую жить было невозможно, но он отказался помогать матери – «врагу народа». ... (Наверное, отрекаются именно такие, а, возможно, отрекаясь, такими становятся...).

Был еще эпизод, который мне хотелось бы отметить. Это был, наверное, 1956 год. В шумном вестибюле института я вдруг оказалась в объятиях нашей преподавательницы по микробиологии. Она плакала, обнимая меня. И повторяла: «Науку выпускают из тюрем! Вы понимаете, что это значит: наука выходит из тюрем?!» – Я была поражена, во-первых, тем, что для такого сообщения она выбрала меня; во-вторых, самим сообщением, и, в-третьих, тем, что это была она – моя любимая Галина Ивановна. К этому времени курс микробиологии мы уже кончили. К самому предмету микробиологии я относилась достаточно спокойно (правда, мой ответ на экзамене был отмечен в нашей общеинститутской печатной газете, но мои знания –

это была дань моей любви и уважения к Галине Ивановне). Я ее обожала. Высокая, статная, с огромными голубыми умными, печальными глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками, с красивым благородным лицом, седой головой, – она мне казалась олицетворением ушедшей России. Была ли она аристократкой по рождению, не знаю, но она, безусловно, была остатком той великой русской интеллигенции – интеллигенции конца 19-го – начала 20-го века, к которой я питаю нежную страсть: была ли она «гнилой», была ли она «виновна» в бедах, обрушившихся на Россию, но это было великое явление русской культуры, наверное, уникальное в мировой истории. Наверное, Г.И. видела на занятиях мои влюбленные глаза, потому и бросилась именно ко мне в вестибюле: тогда еще далеко не к каждому студенту можно было с этим подойти. Я, конечно, кивала, понимала, но сказать ей что-либо сама еще не могла. Я уже многое знала, но была еще так далека от понимания той катастрофы, которую пережила Россия в 20 веке, от понимания масштабов трагедии 30-х годов. Но еще одну «галочку» в своих познаниях я поставила: и наука – там!

Это были мои университеты, длившиеся долгие годы. Штрихи к картине великой трагедии доставались с трудом, были отрывочны и скупы, они, в основном, укладывались в теорию вины, в сущности, одного человека; масштаб этой вины был извращен скудостью информации, и, наверное, до 40 лет я все же верила в то, что нам чрезвычайно исторически не повезло, но, тем не менее, «кривая вывезет»... Сталин был монстром, термидорианцем, губителем революции, но Ленин для меня оставался вождem справедливой революции, а социализм – самым справедливым устройством общества.

Сегодня, с «высоты» своих относительно скромных познаний о событиях того времени, я все же могу оценивать глубину той бездны лжи, в которую мы были погружены, оценивать то информационное удушье, в котором мы жили.

Удивительно ли, что люди верили в справедливость революции, в святость ее вождей, в руководящую роль партии, в светлое будущее, в злобность окружения и «внутренних врагов», мешающих нам бодро шагать в это будущее. Тех, кто что-то знал, умел читать между строк, кто хотел знать и думать, кто не боялся знать и думать, – были единицы, и они были безмолвны. Тех, которые осмеливались говорить, в живых не было. Даже 20-й Съезд, «оттепель» и возвращение выживших из ГУЛАГа только приоткрыли щель в эти бездны.

Для меня ситуацию взорвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына. Тогда эта книга была для меня энциклопедией, которую уже прочел мир, и она дошла и до нас. Мы читали ее в 1978 году, привезенную тайно из-за рубежа. Она была в тоненьких, как школьные тетрадки, небольших брошюрах. Но их было много. Я стояла перед Солженицыным на коленях...

Но я забежала очень далеко вперед...

А пока была лампа под абажуром, разговоры с бабушкой. Мы разговаривали, а бабушка бегала в коридор смотреть, не подслушивают ли под дверью наши бдительные служители идеологического культа. – Да нет! У них никакого культа не было вообще. – Просто это были достаточно темные люди, подвластные силе, неосознанному духу времени, лозунгам и страху. Кстати, во все страшные времена зло опирается именно на таких: не на совсем темных, не совсем неграмотных – на полутемных, полуграмотных. Совсем темные выступают обычно как пушечное мясо. А вот функционеры самого низменного звена: каратели, соглядатаи, палачи, доносчики, предатели – набирались именно из этой публики. (Но тотальный страх – страх смертный ломал и далеко не темных...)

Неграмотность чаще есть меньшее зло, чем полуграмотность. Воинствующие невежды обычно из числа последних. Неграмотный человек обычно скромн: он знает, что он ничего не знает. Человек, очень много знающий, тоже знает, что он ничего не знает. А полуграмотные люди, «образованцы», как называл их А. И. Солженицын, обычно считают, что они знают

всё, или почти всё. Именно поэтому они присваивают себе право поучать, попирать, теснить, угнетать, уничтожать, убивать...

В 20 веке это явление обернулось не частным, а историческим злом, принявшим планетарные масштабы в силу технических возможностей распространения и осуществления зла. 21-й век в этом отношении существенных корректив не вносит. Он будет иным, но вряд ли лучше: безграничные технические возможности, новые технологии, падение нравов, примат права, а не совести (вернее, права – без совести); двойные стандарты, безграничная власть денег грозят человечеству новыми катастрофами.

Мои институтские годы текли достаточно серенько. Те, кто нашел свое место в медицине, параллельно с учебой работали на избранных кафедрах, дежурили, готовились к практике, так как нас институт выпускал совершенно «сырыми» в сложную и очень ответственную профессиональную жизнь, бросая, как щенят, в воду: выплывут – не выплывут (создавая этим проблемы не столько врачам, сколько их пациентам). У нас не было, как во многих странах, специальной клинической подготовки после окончания учебы.

По состоянию здоровья я имела академический отпуск после 4-го курса. Училась я добросовестно. Мои однокашники, преподаватели, больные относились ко мне хорошо. Я знала, что буду честно работать, но подспудно чувствовала, что со временем буду искать другие профессиональные пути (в институте ни на теоретических кафедрах, ни в клинике я своего места не нашла, хотя и искала).

У нас была друг дома, Э.И., – главврач медсанчасти одного из пригородов Москвы (теперь он давно в черте Москвы). В начале 6-го курса я пожаловалась ей, что мне скоро заступать на профессиональную «вахту», а я боюсь, чувствую себя не в праве брать на себя ответственность за здоровье людей. (А ведь у нас по распределению новоиспеченных врачей засылали и в «тьму-таракань», где до ближайшего цивилизованного пункта – только на вертолете... И там вчерашний студент иногда должен был быть всем: и терапевтом, и хирургом, и акушером-гинекологом. Я хотела проситься, если меня не оставят в Москве, на Курилы, в Норильск, но меня оставили в Москве.)

Э.И. – маленькая, умная, энергичная, очень добрая и отзывчивая, прекрасный врач, не раздумывая, предложила мне работать в ее медсанчасти врачом-дежурантом.

«Никто не будет знать, что ты студентка. Но мой телефон в изголовье моей постели. Мне 5 минут ходьбы до тебя. Я приду на помощь в любую минуту». – Я согласилась

Работала я у нее в течение всего шестого курса: дежурила в ночь с субботы на воскресенье (тогда суббота была рабочим днем) или воскресные сутки, а после дежурства в понедельник ехала прямо на занятия. Ни одной недели я не пропустила. В моем ведении были стационар, поликлинический прием и скорая помощь, детская и взрослая – весь поселок. И я была одна.

Первая ночь – это было испытание, посланное мне Богом. Другой подобной не было за весь год. Я не вышла ростом, и служебный халат, выданный мне, был очень длинным: он скрывал мои дрожащие колени. Несколько раз я подходила к телефону и набирала номер Э.И., но, недобрав до конца, нажимала на рычаг: если сейчас позвоню, так и буду звонить всю жизнь. Нет, справлюсь сама. И я справилась. (Рядом были дежурные медсестры).

Утром, когда я прибежала к Э.И., она ждала меня на пороге. Она тоже сказала, что такая редкая ночь – это жизненное испытание. За весь год я ни разу не позвонила и, к счастью, не наделала ошибок. Мы стали с Э.И. большими друзьями, полюбили друг друга, и, когда она мужественно, в полном сознании умирала, у ее постели были ее сын и я. Так она хотела.

За полтора года до моего окончания института умер мой дедушка. Я долго ощущала после его ухода пустоту вокруг себя

Поликлиника, в которой я работала по распределению, и участок, который мне дали, были рядом с домом, где мы жили, в самом центре Москвы – до Красной площади было 15–20 минут пешего хода. Моя участковая работа – это очень значимый «университетский курс»,

который я прошла в жизни. Я работала всего 3 года, как того требовало распределение. Вероятно, я могла бы быть хорошим врачом. Но я им не успела стать. Читать специальную литературу практически не приходилось – не было времени. Приходилось довольствоваться тем, что дал институт. Но у меня была хорошая память, и в процессе учебы я старалась не упускать главного. Я всегда помнила заповедь: «Не вреди!». Навредить боялась более всего. Я неплохо знала патологию: кафедра патологической анатомии Академика И. В. Давыдовского давала глубокие знания. Это был первый предмет в институте, который я учила сознательно, глубоко и с удовольствием. Ради этого предмета я не отдыхала на 3-ем курсе ни одного воскресенья: я его проводила в Общем читальном зале Библиотеки им. Ленина. Занятия были в понедельник, а другого места для подготовки в воскресенье у меня не было. За день мне удавалось подготовиться и к другим предметам и порыться в журналах и книгах. Оттуда пошла моя любовь к библиотекам, читальным залам. (Правда, все мои шефы в дальнейшем и сама жизнь держали меня в этом отношении на голодном пайке: «не пускали козла в огород»...)

Теоретической базой в моей участковой работе были студенческие знания, возможно, чуть-чуть больше. Но главным в ней было не это. Главным было то, что я искренне старалась лечить людей, делая все, что было в моих силах. Много лет спустя я поняла, что, в сущности, в обязанности участкового врача и не входило лечить людей (а потому и условий для этого соответствующих не было) – это была служба выдачи бюллетеней и лечения непродолжительных заболеваний, не требующих больших профессиональных и временных затрат. Во всех остальных случаях больных отправляли для лечения в стационар.

В те времена у нас в обычных стационарах не было сложных методов исследования, высоких технологий, тотального лечения капельницами под контролем приборов и т.п.. Как лечили в стационарах терапевтические заболевания, я неплохо знала: я довольно много работала на терапевтических кафедрах в клиниках института и, работая на участке, тоже нередко работала в стационаре. (Наша поликлиника была составной частью клинической больницы, в которую еще входили стационар с терапевтическим и хирургическим отделениями и женская консультация). В терапевтическое отделение нашей больницы меня время от времени начальство отправляло поработать, чтобы я могла немного отдохнуть от участковой работы и подправить здоровье: здоровьем я крепка не была, работала много, и начальство больницы это ценило. Так что я неплохо знала, как будут лечить того или иного больного в стационаре, и, если все необходимое я могла сделать на участке, я оставляла больного дома. Это ложилось нелегким бременем на меня и мою медсестру. – Зачем, почему я это делала? – Наверное, по глупости, по молодости, по незнанию. Я считала это своей обязанностью и не считала себя вправе сваливать на других то, что должна делать сама.

Может быть, здесь уместно будет сказать несколько слов о моей медсестре. Как молодому специалисту, мне ее «сбросили». Никто из врачей работать с ней не хотел. Последняя врач сказала, что будет работать одна, но только не с ней. Что такое в условиях напряженной работы остаться без помощи сестры, понять может только врач. У нее, действительно, был очень непростой характер. Я не стала с ней выяснять отношений и ссориться: в условиях ссор я просто не могу существовать. Если она отказывалась что-то делать, я делала это сама, не меняя спокойного и дружелюбного к ней отношения. Постепенно таких моментов становилось все меньше и меньше. Потом она уже старалась предугадывать, что нужно будет сделать, предвывая мои просьбы или указания. Я никогда не задерживала ее на работе: у нее была маленькая дочь. И на участке я старалась не превышать ее рабочую норму, но и расслабляться ей приходилось не часто. Мы проработали с ней 3 года без единой ссоры и расстались друзьями. Иногда моя медсестра говорила мне: «Зачем Вы назначаете этой старухе сердечные, да еще и витамины? Ей пора на тот свет», – «Валя, – отвечала я, – это решать мне. Делай, пожалуйста.» – И Валя делала. Продолжительность моего рабочего дня была восемь с половиной часов – это ставка с четвертью: просто на ставку жить было невозможно. Я работала, в среднем, 10 – 11 часов,

а во время эпидемий 12 – 14. Обо всем этом я пишу не для того, чтобы похвалиться, а сказать совсем о другом. Практически все мои больные жили в коммуналках. На моем участке была квартира, в которой, при наличии одной ванной комнаты и одного туалета, жили 44 человека. Была семья из 11 человек, которая жила в комнате площадью в 10 квадратных метров. На ночь все они в ней разместиться не могли: двое уходили спать к друзьям, трое спали за дверью, в коммунальном коридоре. Были люди, которые жили в глубоких подвалах. (Это было в начале 60-х).

Мои пациенты ссорились на коммунальных кухнях. Ругались, наверное, где-то даже дрались. Но сколько добрых слов я слышала в свой адрес от этих людей, сколько благодарности (за всю жизнь столько слышать не довелось), какие светлые лица я видела. Один характерный эпизод я опишу.

Это было во время эпидемии гриппа. У меня на приеме было около 30 человек и около 30 вызовов на дом. На последний вызов я пришла, когда было уже около 10 часов вечера. Звоню в дверь. Сначала через закрытую дверь, а потом уже при открытой происходит следующий диалог:

– Кто там? – спрашивает пожилая мать моей пациентки. Она меня не знает.

– Врача вызывали?

– Врача?! Надумала! Целый день ее ждали, а она является, когда люди спать ложатся.

– Я знаю, что очень поздно. Если вам сейчас неудобно, я приду завтра утром, – говорю я еще через закрытую дверь.

– Ну, ладно. Уж пришла – заходи. Кто это мотается по чужим квартирам в такую поздноту? И помереть можно, пока ты явишься.

– Мама, это Борщевская, – кричит ей больная дочь из комнаты. Но мать не слышит и продолжает мне выговаривать.

– Мама, это Борщевская, – снова кричит дочь. Наконец, мать слышит, замолкает и смотрит на меня.

– Ты – Борщевская? – Ты моя дорогая! Что же ты так поздно ходишь? Сил уж небось нет. Прости меня, дуру старую. Прости меня! Простишь?

– Конечно, прошу, – говорю я и чувствую, что по щекам у меня текут слезы.

(Часто после очень тяжелых дней, когда я приходила домой и бабушка кормила меня ужином, я расслаблялась и у меня текли слезы – просто так, от усталости, от нервного истощения).

Квартира была, естественно, коммунальная. На шум в переднюю вышли соседи. Я ушла из этой квартиры в двенадцатом часу ночи: кому-то надо было измерить давление, кому-то выписать рецепт, кому-то дать совет.

Там, на участке, в общении с этими людьми, с моими больными родилась «оригинальная» утопическая идея (она рождалась, рождается, будет рождаться, а где-то живет сегодня). Мы знаем цену утопиям, но, если утопии вообще исчезнут из жизни, вряд ли это украсит наш мир. Плохо, когда утопиями вооружаются оголтелые авантюристы, но разумные деятельные люди из утопий могут черпать вполне рациональные идеи.

Я видела удивительную силу естественного, нормального, спокойного добра. Оно меняло взрослых, вполне сформировавшихся людей, вызревших и живущих в суровых жизненных условиях, и я думала, как действительно оно должно быть в детском возрасте (как и зло: в детском возрасте оно особенно губительно). Думала о том, что система образования, от ясельного возраста до взрослого, должна быть продумана с этой точки зрения. И это должна быть государственная политика, а не только инициатива частных лиц. Это кажется бредом: для этого надо биологически изменить человечество. Это так и не так. На Западе давно существуют школы и больницы, где лечат добротой и творчеством. На Западе существует фундаментальный лозунг: «Смайл!» – «Улыбайтесь!». Человек, которому улыбнулись, улыбнется встреч-

ному, а тот, которого облаяли, толкнет встречного и рывкнет на него. И цепная реакция зла погаснет не скоро.

У нас уже тоже есть школы, где брошенных детей-калек, не нужных ни родителям, ни государству, обучают и воспитывают добром и участием в творчестве и искусстве, и дети чувствуют себя счастливыми и востребованными обществом.

Не нужно отбрасывать идеи социализма только потому, что большевики, ведомые своими преступными вождями, устроили в России мясорубку. Ведь западные страны позаимствовали эти идеи для проведения социальных реформ, чтобы не доводить общество до взрыва.

20-й век убедительно показал, что в общественном развитии не должно быть места революциям. Общество должно идти путем эволюции и реформ, которые не должны опаздывать. Это забота политиков, общественных деятелей, ученых, Церкви, деятелей культуры.

В конце второго года моей работы на участке я вышла замуж за сына моей пациентки. Все началось с занятий математикой и физикой. Он был физик-теоретик, а я уже знала, что все равно буду искать путей продолжить образование и перейти на научную работу. Он помог мне в этом. Брак оказался неудачным. Через семь лет он распался. Но он дал мне любимого сына, (а сейчас у меня три прекрасных внуки и маленький внучонок.) Второй раз я вышла замуж через 15 лет.

Через год после рождения сына я пошла уже на новую работу, на теоретическую кафедру только что открытого нового теоретического факультета в институте, который я окончила.

Мои новые «университеты» были очень не просты. Большинство сотрудников этого факультета имело университетское образование, и медичка, участковый врач им казалась странной и неуместной. Прошло немало времени, прежде чем я попала к человеку, под руководством которого я начала заниматься действительно научной работой. Но все эти годы я старалась учиться, несмотря на семейные и материальные проблемы и сложности. Эти годы были очень трудными для меня. Мой рабочий день длился от 9 до 14 часов (а дома был ребенок, была учеба), но все преодолевалось молодостью и энтузиазмом. Все сотрудники новой кафедры были молодые, неостепененные (заведующий кафедрой был единственным кандидатом наук; теперь он Академик, а большинство тех, кто тогда начинал, – профессора и Членкорры). Все были полны энергии, надежд, интереса к новой науке, доброжелательны и дружны.

Будни наши были нелегки: не было приборов, не было реактивов, студенческие практики писались с нуля. (Медико-биологический факультет был на тот момент первый и единственный в мире). Приборы чинили сами. Но не только чинили – их совершенствовали: создавали приставки, камеры, кюветы – в результате чего нередко наши приборы давали более высокие разрешения и более точные данные, чем дорогие и для нас недоступные американские приборы. То, чего не могли сделать сами, иногда заказывали в наших институтских мастерских. Были у нас такие, но это были сборища совершенно спившихся людей, очень часто с золотыми руками, высоких умельцев. Дело в том, что у них не было никаких стимулов выполнять такие сложные работы, какие им заказывали сотрудники института: свои грошовые зарплаты они отрабатывали более простыми путями. А сотрудники не имели ни права, ни возможности платить им за заказы деньгами. Платили спиртом. Поэтому, даже если в мастерскую на работу приходил трезвенник, очень скоро он обрушивался в общую пьяную «яму» (но заказы они выполняли блестяще, любые, самые сложные...)

Работали мы в подвале (все новое рождается в подвалах или на чердаках), работали, не считаясь с недосыпаниями, с усталостью, со временем.

Но зато как прекрасны были наши праздники! Собирались на кафедре или у кого-либо дома, чаще там, где были музыкальные инструменты; устраивали вечера дегустации прекрасных вин (была такая возможность); устраивали пивные вечера, а еще чаще пили горячий глинтвейн, который варили в старой медной глинтвейнице, пели романсы и песни; танцевали мало: тесны были помещения. К таким мероприятиям, дням рождений писались стихи (у нас

был «придворный» поэт). Когда пошли защиты диссертаций, мы не отмечали их в ресторанах и кафе (на это не было денег), но зато к этим событиям писались капустники, стихи, создавались мультфильмы, оперы. Хохотали иногда так, что представление приходилось прерывать, чтобы дать народу отдышаться. Много талантов было на кафедре, молодого задора, любви к науке и собратьям по разуму.

У нас на кафедре была такая хозяйка-распорядительница, «матер кафедралис». Она была внучкой известного русского художника, друга Л. Н. Толстого. От деда и ей перепала немалая толика художественных способностей. К каждому Новому году она всем сотрудникам дарила подарки, сделанные собственными руками. Подарки были тематическими, сделаны искусно и остроумно, а потому вызывали всегда большой интерес, а нередко восторг. Иногда это были настоящие произведения искусства. Мы могли бы открыть лавку художественных поделок. Но в те времена подобная практика каралась законом.

Наши научные достижения фиксировались в научных статьях, диссертациях. А вот о наших праздниках можно было бы написать интересную книгу.

Вскоре после защиты кандидатской диссертации я ушла в другую лабораторию, чтобы работать самостоятельно. И работа удалась. Мои биохимические данные позволили интерпретировать результаты исследований, полученные сотрудниками этой лаборатории цитофотометрическими методами. Это было фактически открытие законов клеточного стресса. (Удивительно, но клеточный стресс проходит те же стадии, что и организменный. Когда я писала статью, я еще не читала теорию Селье. Я прочла ее много позже и обнаружила, что мы не только обозначили в процессе развития стресса одни и те же стадии, но и назвали их и описали одними и теми же словами). Такую статью (хотя громких слов в названии статьи не было) должен был подписать Академик или профессор, а не просто старший и младший научные сотрудники. Поскольку интерпретация была моя (мои данные были самыми убедительными) и статью писала я (хотя первой в списке стояла фамилия заведующего лабораторией), мне и пришлось идти за подписью к нашему Академику: он был научным руководителем нашего Отдела и директором нашего научно-исследовательского института внутри большого медицинского института. Академик наш мне сказал: «Не только подписывать – и читать не стану!» – Он не только не подписал – он очень скоро уволил меня, по сокращению штатов, хотя мне уже было недалеко до пятидесяти и я проработала в институте более 20 лет, без единого замечания. Институт уволить меня не дал. Я провалялась с предынфарктным состоянием около двух месяцев, а статья пошла на депонент в ВИНТИ, где и валяется по сей день где-нибудь в архиве, а, возможно, уже и уничтожена. (Года два спустя после этого, работая уже на другой работе в другом учреждении, я делала доклад по этой моей старой теме в МОИПе (Московское общество испытателей природы). Там я уже ставила все точки над «i». Я уже знала теорию Селье и знала, что клеточный стресс протекает по тем же законам, что и стресс всего организма: природа очень разумно экономична. Я должна была написать доклад в Сборник МОИПа. Я этого не сделала: это уже было выброшено на помойку, как не одно начиние в моей жизни. Возврата не было, а времени и сил, как всегда не хватало. Теперь я об этом жалею. А через некоторое время я сорок минут на помойке жгла мои бумаги – мою несостоявшуюся докторскую диссертацию: книги, пластинки, журналы, газеты («перестроечный» поток), деловые бумаги моего мужа в квартире не помещались...)

Вернусь всё же к ситуации со статьей. Дело было вот в чем. Я работала одна в большой светлой комнате. В ней на обеденный чай собиралась вся лаборатория и еще человека 2 – 3 из других лабораторий (как на грех, все евреи, в том числе моя подруга) время от времени присоединялись к нам. Это был конец 70-х – начало 80-х годов, конец брежневской эпохи – время тяжелого предгрозового удушья, развала, цинизма, воровства и открытого государственного антисемитизма. Отдушиной, доступной почти всем, были анекдоты. Их было невероятное

количество и разнообразие: единичных, серийных, политических и неpoliticalеских, черный юмор и светлый. Как будто весь творческий потенциал народа хлынул в это русло.

Мой сын из школы приносил каждый день гроздь новых анекдотов (правда, он учился в физико-математической школе: там, наверное, родители заряжали детей этой специфической информацией).

За нашим чаем, естественно, анекдоты лились рекой, с интерпретацией и комментариями, а соглядатаи всегда были, и мы их знали. Но не боялись: благо, Брежнев за анекдоты не сажал, хотя распускать языки не всегда было безопасно. Мой шеф говорил: «Ты знаешь, почему мы должны молчать? – Потому что мы плывем на тонущем корабле.»

Была и еще одна особенность нашей «чайной» компании: процент еврейской крови в ней переваливал за середину. Компания предстала как еврейский диссидентский клуб. Настоящие диссиденты, которые подписывали протестные заявления, печатались за рубежом, выходили на демонстрации, посмеялись бы, но в нашей стране и свободомыслие было недопустимым диссидентством. А наш Академик, как огня, боялся диссидентства, но более, чем огня, он страшился своего еврейства (он, правда, уже давно, как еврей, уехал жить в Германию, но такие люди, как он, при любых режимах, в любых ситуациях держат нос по ветру.) Но тогда он решил демонстративно «раздавить гадину» в ее логове. (Он предал своего друга, сообщив в соответствующие инстанции, что тот собирается уехать в Израиль, задолго до того, как такая возможность у него появилась. Друг был уволен с работы, со всеми вытекающими...)

Никаких перспектив продолжать работу у меня не было, хотя была готова значительная часть докторской диссертации. Наш прекрасный виварий практически перестал существовать – был разграблен. Здоровых животных, которые необходимы были нам для работы, в нем не было. И я ушла на научно-информационную работу в Министерство здравоохранения.

Началась «перестройка». Все сыпалось. Не доработав нескольких месяцев до необходимого возраста, я ушла на пенсию.

«Перестройка» взорвала гнилые структуры нашего существования – во всех сферах нашей жизни. Она же пробудила к жизни все здоровое, что долгие годы скрывалось в глубинах больного общества.

«Перестройку» ждали. – Нет. не «перестройку», и не ждали: предчувствовали; перемены – и не перемены, скорее какого-то краха...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.